

Иван Иванович Лажечников

**Беленькие, черненькие и  
серенькие**



# Иван Иванович Лажечников Беленькие, черненькие и серенькие

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=22136082](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22136082)*

## **Аннотация**

«Под этим заглавием выдаю историю одного семейства и портреты некоторых его современников. Семейство это знал я с первых годов моей юности. Последний представитель его, Иван Максимович Пшеницын (вымышленная фамилия, как и все прочие, упоминаемые в этом временнике), умер в конце прошедшего года, назначив меня своим душеприказчиком...»

# Содержание

Тетрадь I	7
Тетрадь II	55
Тетрадь III	108

# Иван Лажечников

## Беленькие, черненькие и серенькие

Под этим заглавием выдаю историю одного семейства и портреты некоторых его современников. Семейство это знал я с первых годов моей юности. Последний представитель его, Иван Максимович Пшеницын (вымышленная фамилия, как и все прочие, упоминаемые в этом временнике), умер в конце прошедшего года, назначив меня своим душеприказчиком. Разбирая его бумаги, я нашел в них несколько рукописных тетрадей, хранившихся вместе под одной обложкой, на которой была затейливая надпись: *«Беленькие, Черненькие и Серенькие – списаны на поучение и удовольствие моих потомков»*. Каждая тетрадь носит свое собственное заглавие и имеет свое содержание. Так, в первой идет рассказ о жизни семейства Пшеницыных в *Старом доме*; во второй – помещены портреты *Замечательных городских личностей*; третья, под заглавием: *Соляной пристав*; в четвертой опять описание жизни семейства Пшеницыных в *Новом доме*; затем описание их жизни в *деревне*, со включением портретов *Замечательных деревенских личностей*, и так далее. Все тетради составлены из разных лоскутков, беспорядочно сшитых. Списаны на поучение и удовольствие потомков? – думал

я; следственно, автор желал, чтобы по смерти его рукопись была издана. Воля покойника священна для душеприказчика его. Исполняю эту волю, как полагаю, лучше.

Кажется, сочинитель временника желал, но, вероятно, не успел или поленился соединить свой рассказ в более стройное целое. Это заметно из того, что он дал всем тетрадям одно общее заглавие; сверх того, в описаниях современников его нередко упоминается о том или другом из членов семейства Пшеницыных, имевших с самими оригиналами портретов сношения и связи. В подлинной рукописи оказывались пробелы, возбуждавшие некоторые занимательные вопросы о характере и жизни Пшеницыных. Для разрешения этих вопросов обращался к собственным своим воспоминаниям, так как многие события, касающиеся этого семейства, проходили перед моими глазами. Все это, где нужно и возможно было, связал я и дополнил собственными заметками и дорисовкой, как живописец склеивает и подправляет старые картины, в разных местах прорванные. Таким образом составил я нечто целое, сколько позволила мне форма, в которую автор облек свои произведения. При сочинении оставил я название, данное ему самим завещателем, по пословице: «всякий барон имеет свою фантазию». Об Иване Максимовиче говорю в третьем лице, как и он говорил о себе. Может быть, в труде моем и видны белые нитки: что ж делать? я выполнил его по разумению моему и по возможности.

Представляю этот сборник суду читателей, как издатель

и отчасти автор его. Прошу помнить, это не роман, требующий более единства и связи в изображении событий и лиц, а временник, не подчиняющийся строгим законам художественных произведений.

Необходимо еще оговорить, что он начинается с последних годов XVIII столетия и доходит до двадцатых годов XIX. Как видите,

дела давно минувших лет!

# Тетрадь I

## В старом доме

Иван Максимович Пшеницын родился в уездном городке Холодне. Вы не найдете этого города на карте. Однако ж, для удобства рассказа, я поместил его верстах в ста от Москвы. Хоть эта уловка похожа на хитрость, кажется, страуса, который, чтоб укрыть себя от преследований охотников, прячет свою голову и туловище в дупло, а оставляет хвост наружу, но, несмотря на то, что в вымышленном названии месторождения Пшеницына виден хвост, я все-таки, по некоторым уважительным причинам, прячу лицо в это дупло.

Иван Максимович помнил из первых годов своего детства жизнь в этом городке, на Запрудье, в каменном одноэтажном домике, с деревянной ветхой крышей, из трещин которой, на зло общему разрушению, пробиваются кое-где молодые березы. Она испещрена наростим на нее мхом разных цветов. Верхи стен окаймлены зеленью плесени в виде неровной бахромы. В окнах железные решетки. Когда мальчик впоследствии перешел на новое жилище, ему долго еще чудились жалобные стоны от железных ставней, которые так часто, наяву в темные вечера и сквозь сон, заставляли жутко биться его детское сердце. Памятен ему был даже сиплый лай старой цепной собаки и домик ее у ворот, такой же вет-

хий, как и господский. Увидав мальчика, она с визгом бросалась к ногам его и лизала ему ручонки, забывая сытную подачку, которую он приносил ей от своего стола. В комнатах темно, пахнет затхлым; мебель старая, неуклюжая, обитая черной кожей; все принадлежности к дому разрушаются, заборы кругом если не совсем прилегли к земле, так потому, что подперты во многих местах толстыми кольями. Дом стоит на огромном пустыре. Сзади, на несколько десятков сажен, ямы и рытвины, из которых, вероятно, много лет добывалась глина. Зато далее какой чудный вид из двух калиток, обращенных на запад и полдень! На возвышении кругом в два ряда высятся к нему столетние липы: они с воим ведут иногда спор с бурями, и, несмотря на свою старость, еще не сломили головы своей. «Это стонет змей Горыныч, который провалился тут сквозь землю», – говорила няня, употребляя орудия страха, в числе прочих своих убеждений, чтобы неугомонное дитяtko перестало возиться и заснуло. Отец же сказывал, что тут был просто-напросто пруд, давно высохший и давший целому кварталу города название За-прудья.

Далее видно поле. В иную пору года подернуто оно зеленым бархатом, в другую – появляется на нем роскошная жатва в рост человеческий. Малютка любит, как ветер по ней то бежит длинной струей, то, играя, вьет завитки, то гонит волны перекатные или облако цветной пыли, обдающей его какой-то благоуханной свежестью. О! как весело мальчику броситься и утонуть в густой ржи! как он нежится в этом ле-



су колосьев! Но вот зарделась вечерняя заря. Будто на небе где-то распахнулись настежь ворота и понесло через них холодком; роса пала на землю, жаворонки замолкли; зато кудахтали перепела, загорелся неугомонный крик дергачей. Таинственно выходили из калитки дядька Ларивон и барчонок, как он называл своего питомца, хотя Ваня только сынок купеческий. Будто крадутся они от людей для какого-нибудь худого дела, ныряя в глиняных ямах и рывинах, помимо протоптанных дорожек. Вот показалась темная полоса, и над ней переливается золотистая поверхность; еще далее, и для Вани закрылся румяный горизонт – он ничего не видит, кроме стены высокой жатвы. Дядька дает ему знак, чтобы он присел, а сам заботливо устраивает западню. Ваня садится на корточки, притаив дыхание. Засвистала дудочка тихо, нежно, будто замирает голос птички. Крик перепела встрепенулся где-то вдали, потом бьет ближе, живет; дудочка ему отвечает, и вот повели они промеж себя любовный разговор. Еще минута, – и какой-то клубочек упал в рожь, что-то стукнуло... Попал! – кричит дядька, и мальчик опрометью бежит на этот крик, путается и падает во ржи. Наконец пойманная птичка в его руках. Как будто в лад бьется сердце у нее и у того, кто ее держит. Он целует ее, называет ее самыми нежными именами, утешает, говорит, что ей будет хорошо жить у него. Восторгам малютки нет конца.

Подле полуденной садовой калитки, у наружной стены забора, лицом к городу, Ваня, с помощью дядьки, устроил се-

бе скамеечку. Тут он, иногда с матерью, иногда на коленях пригожей соседки, купеческой дочери, которая очень ласкает его, и даже один, засиживается по целым часам. От ножек скамейки начинается зеленый скат к реке Холодянке. Вот спешит и все спешит она унести свои воды в реку, которая издали будто манит ее к себе. На пустынной Холодянке ни одного челнока, берега тесно сжимают ее; а там какое раздолье! Полногрудая красавица кокетливо выказывает только край своей голубой ферязи, только мелькают разноцветные ленты, развевающиеся на бесчисленных мачтах ее караванов. И вот почему речка так суетливо торопится все вперед и вперед! Казалось бы, немного добежать и броситься в широкое раздолье, а тут, назло ей, загородила дорогу колдунья-мельница. Брюзжит старушка, и стучит костылями, и поднимает пыль столбом. Смирные до сих пор воды сердито бросаются на нее; начинается схватка – вопль, тревога на всю окрестность... Но вот вырвались они из плена. Вспененные, весело, игриво, как бы радуясь своей свободе, они бросаются в широкие объятия М-ы реки, которая сама спешит отнести свою добычу ожидающей ее неподалеку О – е. Влево, между мельницей и кожевенным заводом, стоящим в Запрудье, виден вдаль Ба – ев монастырь. Туда Ваня ездит иногда на богомолье со своей матерью. Там лик Спасителя так приветливо на него смотрит, а добрый старец-архимандрит, благословляя его и давая ему свою ручку поцеловать, всегда жалует его просвирой. За монастырем тянется мрач-

ный лес, которому конца не видно. Вправо, против мельницы, на отвесной высоте, одиноко стоит полуразвалившаяся башня, которая, как старей, изувеченный инвалид, не хочет еще сойти со своего сторожевого поста. Кругом все развалины. В нескольких саженьях от нее начинается гряда камней, все идет возвышаясь, сливается потом в сплошную стену и, наконец, замыкается высокой угловой башней. Это отрывок кремля, построенного в давние времена от нашествия татар. Широкая стена, которая поворачивает влево от этого угла, более уцелела, несмотря на то, что она беспрестанно расхищалась на разные постройки, казенные и из-за них частные.

Со скамеечки Ваня видит почти всю панораму города с золотой главой старинного собора и многими церквями. Насупротив стелются по берегу Холодянки густые сады. Весной они затканы цветом черемухи и яблонь. В эту пору года, в вечерний час, когда садится солнце, мещанские девушки водят хороводы. Там и тут оглашается воздух их голосистыми песнями. Ваня заслушивается этих песен, засматривается на румяное солнышко, которое будто кивает ему на прощанье, колеблясь упасть за темную черту земли; засматривается на развалины крепости, облитые будто заревом пожара, на крест Господень, сияющий высоко над домами, окутанными уже вечерней тенью. Только нежный голос матери сквозь калитку или приказание дядьки могут оторвать его от этого зрелища. Станный был мальчик!

Ларивон водит часто его в ближайшую березовую рощу,

раскинутую по двум скатам оврага. Будто для Вани расчищена она, будто для него устроены в ней концерты разноголосых птичек, для него по дну зеленого оврага проведена целая дорожка незабудок и везде рассыпано столько разнородных цветов, красивых, пахучих. И куда только пестун не водил своего питомца по окрестностям, по каким рощам они не бродили! Но «умысел другой тут был». Ларивон был страстный соловьиный охотник. Он ловил, покупал, брал в учение и продавал соловьев. Не только что в комнате его все стены обвешаны клетками едва не до полу, но и в зале, в гостиной, висят их по две, по три. Как скоро Ларивону было свободно (он в доме исполнял должности дядьки, слуги иногда и приказчика), сейчас принимался он за свои лекции. Начинались они тем, что профессор брал вилку и ножик и шурканьем одной на другом поднимал пернатых к пению. Потом высвистывал колена на разный лад, так что вы не могли разобрать, губы ли его пели или соловей. Это был настоящий орган. Иногда, забывшись на самых нежных или горячих переливах, он закрывал глаза, как настоящий соловей, когда восходит до пафоса своего пения, – и с замирающим свистом, изнеможенный, опускался на стул. Не подумайте, чтобы одна корысть питала в нем эти занятия; нет, это была истинная страсть – он был охотник. И вот ради каких побуждений таскал он своего питомца по всем кустарникам и рощам, которые были в окрестностях. Случалось им увлечься так далеко, что малютка приходил домой без ног, или пе-

ступ на руках своих приносил его спящего, иногда в венке из ландышей, перевитых кукушкиными слезками и васильками. Поэтому-то Ваня рано стал любить *природу*, рано стал сочувствовать красотам ее. Никогда не отговаривался он от этих прогулок, как бы ни утомительны они были для него.

В доме все любили и уважали Ларивона, не исключая и самих родителей Вани, которого отдали, казалось, на безотчетное его попечение. Надо сказать, что и дядька не употреблял во зло доверия своих господ – как называл и почитал их, потому что был приписан к заводу, принадлежащему Пшеницыным. Воспитанник не видал от него сердитого толчка, не только розги (которая, правда, ни от кого никогда не была на малютке); никогда бранное слово не вырывалось из уст воспитателя, а если нужно было сделать выговор, так это делалось во имя *стыда*. «Эх! Как вам не стыдно, Иван Максимович, – говаривал он в минуты крайней необходимости, когда видел непростительную шалость своего питомца, – этого и бурлак не сделает». За резвость и не думали взыскивать; дядька находил ее приличной мальчику. «Любо смотреть, – говаривал тот же природный наставник, – любо смотреть на молодого коня, когда его выпускают погулять. Шея его словно лебединая, грива встала крылом, ноздри огнем горят, из-под ног мечет он искры и землю – вольный конь летит с вольным ветром взапуски. А свинья только что роется в своей поганой луже, да спит в ней, зарывшись в грязи; за то свиньей и прозвали». Слово *стыдно* так запечатлелось на душе малют-

ки, что он и во всех возрастах, во всех случаях жизни чтил его свято, как одну из заповедей Господних. Первому лепету молитвы няня выучила ребенка, но молиться с благоговением – Создателю Господу Богу – внушал ему дядька, который сам всегда так молился, иногда со слезами на глазах. Ларивон любил очень странников-богомольцев и слушал с упоением простосердечной души беседы их о житии святых и мучеников.

Все это любил он горячо; за господ своих готов был *положить живот*. В честности его были так уверены, что не раз поручали ему большие суммы. Усердию его, нежной заботливости о них не было границ. Когда они бывали по дорогам, он первый усматривал опасный косогор, мигом слетал с козел и, как новый Атлас, принимал на себя всю тяжесть склонявшегося экипажа. В топких местах, а их было тогда много и по большим дорогам, он первый возился с колом, чтобы вырвать из грязи захваченное ею колесо. Ларивон не рассуждал, надорвется ли от этого усилия или изломает свои кости, он думал только о безопасности своих господ. Заботливый до бесконечности, он просыпался в три часа, если ему велено было встать в четыре. Не полагайте, чтобы это был старик: ему считали с небольшим тридцать лет. Сложенный как богатырь, он имел и силу исполинскую. Лицо у него было очень мало по росту и детски-добродушно. Говорят, что в физиономии каждого человека есть какой-то отпечаток звериного или птичьего первообраза; можно сказать, что в его

физиономии было что-то соловьиное.

Нянька Домна, имевшая в это время ключи от всех кладовых и амбаров, была тоже редкий человеческий экземпляр. Вся жизнь ее прошла в нянчении и хозяйстве; в этих только занятиях сосредоточены были все ее помыслы и чувства. Она вынянчила мать Вани и успела выдать ее замуж; вынянчила Ваню и сдала его дядьке, румяного, разумного. Сколько бессонных ночей напролет провела она над кроватями своих питомцев, когда они бывали больны! Сколько гнула она спину – и почаще деревенских жниц – чтобы выучить их ходить! Зато сама ходила крюком. А чего стоили ей заботы и опасения, не сглазили бы ребенка, не выучили бы его соседние ребятишки худым словам! Взгляд его, движение, намек, тревожное слово или улыбка во сне – все это умела она перевести на свой сердечный язык. Бывало, удастся ей двумя иссохшими руками поймать Ваню, вертлявого, как выюн, за кудрявую головку, и целует, целует ее, – вот единственное наслаждение, которое вознаграждало старушку за тяжкие труды многих лет!

В числе прислуги была еще старая кухарка Акулина, мать Ларивона. Ее считали первой особой в домашнем штате. Чрезвычайно дородная, с зобом в три этажа, смотревшая на всех с высоты, она походила на важную купчиху. Никого не удостоивала она низким поклоном, даже господ своих, а только едва заметным киванием головы. Если нужно было господам о чем посоветоваться, приглашали Акулину,

как женщину старшую в доме, бывалую и разумную. На этом совете обыкновенно решал ее голос, которому покорялась и сама Прасковья Михайловна (так звали Ванину мать). Акулина превосходно готовила кулебяки, всякие похлебки, холодные и жаркие, квасы, меды, мочила отличным образом яблоки и умела сохранять свежие до новых. Она же с таким складом и прибаутками рассказывала сказки, что ее не только Ваня, но и большие заслушивались. Дар этот перешел и к сыну ее Ларивону.

Да еще в доме был кривой кучер Кузьма, горький пьяница, который на старой сивой лошади возил и воду, и воеводу.

В доме не очень любили его: хозяйка за то, что был груб и запрягал лошадь по два часа; Ваня за то, что бранил и бил больно железную лошадку, как называл он ее по цвету масти; ключница за то, что воровал овес, и краденые деньги пропивал; Ларивон – вообще за беспорядочную жизнь; кухарка – за то, что был нечистоплотен и даже подле *Божьего милосердия* нюхал проклятое зелье. Под носом у него всегда оставалось гнездышко табаку. Серые, налитые кровью глаза его смотрели недоброжелательно. Он сам не любил никакой твари. Если б не Ваня и Ларивон, старый пес, оберегавший дом, давно помер бы с голоду. А чего не доставалось от Кузьмы его жертве, сивой лошадке? Кузьму терпели, потому что некем было заменить его.

– Что вы лаетесь: кривой да кривой? – говаривал он, отделиваясь от брани дворовых. – Не своей охотой, Божья во-



ля! Был хмелен, да наткнулся на какой-то сук. Ослепнуть бы вам всем!

Вздумалось однажды этому грубияну отплатить своей госпоже за какой-то сердитый выговор. «Купчиха! больно спесива! – говорил он вслух сам с собой, запрягая лошадь и коленкой посылая ей в бок удар за ударом. – Вишь какая знать! Давай мне денег, и я буду купцом не хуже вас. Были мы прежде генеральские – не таких возили».

И вот едет Прасковья Михайловна куда-то в гости, в четвероугольной линейке, с порыжелыми кожаными фартуками. Вдруг лошадь останавливается против *красных рядов*, на самом бойком месте в городе. Возничий опускает вожжи, преспокойно достает тавлинку из-за голенища сапога, запускает в нее концы своих пальцев и готовится вложить заряд в свою широкую ноздрю... Послышался смех лавочников; но вслед за тем мелькнула белая ручка в шелковых перчатках, что-то горячее стегнуло Кузьму по щеке; щепоть табаку и тавлинка, вместе с кусками перламутрового веера и играющими на нем амурами, далеко полетели в сторону. «Пошел! я научу, как со мной шутить!» – раздался тонкий, но повелительный голос Прасковьи Михайловны. Возничий, невольно повинуясь этому голосу, взялся за вожжи. Линейка тронулась, провожаемая одобрительными возгласами лавочников, ставших, по обыкновению людскому, тотчас на стороне победителя. Никогда еще сивка так прытко не бежала, будто из благодарности, что отплатили за многие ее страдания. С той

поры Кузьма держал месть за пазухой.

Ване в то время, с которого начинается наш рассказ, едва минуло семь лет. Матери его Прасковье Михайловне было только двадцать четыре года. Максим Ильич взял ее из купеческого дома, который хотя был прежде очень богат, но расстроился вследствие разных торговых неудач. Она слыла первой красавицей в городе и хорошо это знала. Отец и мать баловали ее, единственное свое дитя, как ненаглядное сокровище. Всякая прихоть, каприз ее исполнялись как закон. С детского возраста она привыкла повелевать. Вырваться из смиренного круга, в который обстоятельства ее бросили, и стать на высшую, блестящую степень – было одним из самых горячих ее мечтаний. Властолюбивая дома, где все ходило по ее ниточке, она хотела и судьбу поставить на свою ногу. Девочка твердила, что выйдет за генерала. Увез же соседку, красивую попову дочку, помещик, у которого тысяча душ, и женился на ней. Но генералов в кругу ее не оказывалось, да и не было ни перед ней, ни за ней богатой придачи, за которой превосходительные женихи гонятся более, чем за умом и красотой. Купеческих претендентов на ее руку, которых предлагали ей родители, иногда на коленях, было множество. «Вспомни, Парашенька, – говорили они, – ведь тебе шестнадцать лет. Твои погодки уж два года замужем, да и детей породили. Сраму, сраму-то не оберешься, как засидишься в девках». Прасковья Михайловна, утомленная этими мольбами, а еще более убежденная доводами няни своей,

которая выведывала для нее все качества и недостатки женихов, решилась осчастливить купеческого сына, Максима Ильича Пшеницына. Неужели его домик, смиренный, ветхий, мог прельстить гордую красавицу? Нет, она видела далее, она шла за богатые, блестящие надежды... Этот бедный домик должен был, рано или поздно, превратиться в роскошные палаты.

Грамоте Прасковья Михайловна плохо знала; она едва разбирала по складам песенки и ужасными каракульками подписывала свое имя; однако ж, цифры знала до ста тысяч. Она слыхала, что одна барыня, также безграмотная, имевшая дела с отцом ее, проводила за нос самых крючковатых законников, могла рассказать, как лучший адвокат, содержание каждой деловой бумаги, и от небольшого наследственного состояния оставила своим детям несколько тысяч душ, да построила десяток каменных церквей. И у нашей купеческой дочки грамота была в голове, или она, по крайней мере, так думала. Муж ее, страстно влюбленный в нее, смотрел ей в глаза; свекор ласкал ее и называл своей любимой невесткой. К тому ж, всегда живя в Москве, он не мешал ее домашнему владычеству. Перешагнув из жилища от своего в жилище мужа, она только расширяла свое господство.

Максиму Ильичу было не более двадцати двух лет, когда он на ней женился. Он имел приятную наружность, сердце доброе, светлый ум и стремление к дворянской жизни, чему способствовали немало связи его отца, Бог знает как и когда

сделанные, со многими знатными лицами того времени. При выборе его Прасковьей Михайловной склонило также весы на его сторону и то, что он и весь род его, со времени Петра Великого, ходили в немецком платье, что Пшеницыны ели серебряными, а не деревянными ложками, каждый со своего оловянного прибора, а не из общей семейной деревянной чаши, что они имели прислугу и кое-какой экипаж. Говорили, что этот род шел от новгородских именитых людей, которые, избежав казней во времена Иоанна Грозного, переселены им были в Холодную. Поэтому в фамилии Пшеницыных сохранилась какая-то наследственная, кровная гордость, которой не замечали в прочих смиренных обитателях Холодни. Во всех городских собраниях видали их всегда передовыми.

Надо прибавить, что Максим Ильич имел врожденное стремление к образованию себя. Случай развил еще более эту склонность. В одну из частых поездок своих в разные пределы России, которые он всякий год совершал по торговым делам, познакомился он где-то с *каким-то господином* Новиковым<sup>1</sup>: Новиков полюбил молодого человека, беседовал с ним часто о благах, доставляемых просвещением,

---

<sup>1</sup> В *Семейной Хронике* Аксакова упомянуто, что переписка Новикова с Софьей Николаевной имела большое влияние на ее образование. Мудрено ли, что молодой Пшеницын, живя ближе к Москве, имел случай столкнуться с этим замечательным человеком, который своими беседами внушил ему любовь к просвещению? Нашлась бы, конечно, не одна сотня подобных фактов, если бы их вовремя собирать. Мы увидели бы тогда, как он обильно сеял Божие семя на русскую ниву. Почему в подлинном рассказе Ивана Максимовича Пшеницына назван Новиков *каким-то господином* – мне неизвестно.

и снабдил его списком всех книг и журналов, какие только были изданы на русском языке. Максим Ильич не замедлил купить эти книги и читал их с жадностью. К сожалению, в число их попала и нравственная контрабанда, которую умел искусно навязать ему книгопродавец: это был «Фоблаз» и несколько других подобных сочинений.

Когда красавица Пшеницына ехала в своей колеснице – покуда скромной, четверугольной линеечке, наподобие ящика, с порыжелыми кожаными фартуками, на сивой старой лошадке, с кривым кучером, и подле нее сидел ее милый видный сынок, – прохожие, мещане, купцы и даже городские власти низко кланялись ей. Приветливо, но свысока отвечала она на их поклоны. В приходской церкви ей отведено было почетное место; священник подавал ей первой просвиру; все с уважением сторонились, когда она выходила из храма.

Опять спросим, отчего ж такой смиренный, ветхий домик, мрачно глядевший на пустыре, такой бедный экипаж и прислуга, и вместе такое общее уважение жителей Холодни к Пшеницыным? Загадка была легка; ее давно разгадала Прасковья Михайловна: отец мужа ее был – миллионер. Миллионер того времени!.. Максим Ильич имел еще брата, который жил в Москве. Старик богач здравствовал. Он давал сыновьям на содержание только то, что ему вздумается, да и в том требовал отчета. Итак, жители кланялись богатым надеждам.

Ванин дедушка, Илья Максимович, широко торговал хле-

бом, производил значительные поставки в казну, которые едва ли не с начала XVIII столетия удерживались в роде Пшеницыных, имел серный завод в N губернии, фабрики парчовые и штофные в Холодне, несколько лавок для отдачи внайма в этом городе и дома в нем и в Москве. Дела свои вел он деятельно, с точностью и честно; слову его верили более чем акту. Лет через двадцать после того, как начинается наш рассказ, случилось Ивану Максимовичу в одном обществе быть представленным сенатору и чрезвычайно богатому человеку, князю Д\* (умершему едва ли не столетним стариком). «Очень рад, очень рад с *вами* познакомиться, молодой человек, – сказал сенатор, положив руку на плечо Пшеницына. – Мы с *твоим* дедушкой были большие приятели, делали и дела немалые. Времена были не те, что ныне. Теперь дашь деньги и на актец, глядишь – пропадают, или получишь их с великими хлопотами да с помощью подьячих. Высосут у тебя мошенники не только деньги, но и кровь. С дедушкой твоим вели мы дела иные. Бывало, понадобится тысяч десяток, двадцать – и шлешь к нему цидулку: пришли-де, приятель, на такой-то срок. Или ему понадобится. Давали друг другу без расписки, на слово, и день в день получали обратно свои денежки. Все это стоило только одного спасибо. Да, да, – прибавил князь, вздыхая, – ныне времена другие».

Смутно помнил Иван Максимович, как пришла в Холодную весть, что скончалась «матушка Екатерина Алексеевна», как отец его побледнел и прослезился при этой вести, как

в городе все ходили, повеся нос. Сначала думал Ваня, что умерла родная мать отца его. Но Максим Ильич сказал, что той давно уж нет на свете, а скончалась государыня, благодетельница русского народа. «Люби и уважай память ее во всю жизнь свою, да и детей своих, коли будут, учи тому ж», – сказал он и поставил Ваню пред иконой Спасителя и велел положить три земных поклона, со крестом, да приговаривать: «Спаси, Господи, и упокой душу рабы твоей императрицы Екатерины».

Между тем мечты Прасковьи Михайловны начинали осуществляться. Свекор писал ей, что он очень хворает, не встанет с постели, и просил навестить его, так как муж ее в дальней отлучке. Хотя наступил февраль, на дворе были сильные морозы, – наскоро собралась она и поехала с сынком. Тогдашние холодненские ямщики дельвали в зимний путь сто верст, не кормя, в девять часов. Для скорости, чтобы поспеть в Москву в семь часов, она переменяла лошадей на половине дороги, в Б...Х. В первом селе отсюда осадили кибитку рои девочек с криком: «Булавочку, барыня, пригожая!» – и едва ли не с версту бежали, запыхавшись, за булавочкой. В Островцах дали лошадям перехватить по ковшу воды. Пока ямщик занимался этим делом, кибитку обступила толпа, большей частью женщин и ребятишек. В числе молодых баб много было пригожих. Золотые кички крепко, как в тисках, стягивали их лбы, а сзади шеи, почти до плеч, упала блестящая стеклярусная сетка. У всех в ушах пестрели стекла-

русные подвески и на шее такие же ожерелья; зачерствелые от работ пальцы унизаны были медными перстнями и кольцами. Поступь их была важная и даже грациозная. Стан держался прямо, но юпочка, *понева*, из шерстяной клетчатой материи, похожей на шотландку, и подвязанная очень низко, с каждым шагом колебалась из стороны в сторону. Замечено, что на этот шаг из крестьянских кокеток есть особенные мастерицы. Много безобразила их обувь. Шерстяные толстые чулки в бесчисленных сборах спускались к котам, а у беднейших – к лаптям. Сапоги по колено означали особенное внимание к ним мужей. Спустия с плеча левый рукав овчинного полушубка, обшитого у иных котиком, молодые бабы, большей частью, опирались на плечо своих подруг и лукаво пускали на проезжих стрелы своих карих или серых глаз. Похвалы их или критические замечки сопровождалась рассыпным хохотом, иные мурлыкали про себя отрывки песен. Дети, несмотря на мороз, были в одной рубашонке (заметить надо, очень чистой). Издали многие из них казались ходячей огромной шапкой, клочком рубашки и двумя огромными сапогами. По сторонам каждого из этих движущихся чучелок мотались рукава рубашки, потому что руки у всех спрятаны были под пазухой. Прасковья Михайловна заметила, что в толпе женщин две молодки держали перед собой по одному мальчику в рубашонке, защищая их от холоду полами своих шуб.

– Что, это ваши братишки? – спросила Прасковья Михай-



ловна.

При этом вопросе в толпе послышался смех.

– Так неужели детки?

Тут уж разразился заливной хохот.

– Это мужья их! – закричало несколько голосов.

– Да сколько же им лет?

– Мужьям-то?

– Да.

– С Николы вешнего пошел четырнадцатый.

– А молодыцам?

– А молодыцам-то?

– Да.

– Одной без годика два десятка, а другой ровнехонько два.

Надо заметить, что этих молодых бабенок очень баловали свекры, налегая всей тяжестью черных работ на старых жен своих, которые также имели некогда свое счастливое время. Молодой невестке пряник или калачик из города, и кусочек зеркала, купленный у гуляки дворового человека, и, что считалось большой драгоценностью, – кусочек белого мыла. Старушкам был почет только для вида, при народе на улицах, а дома ставили их ни во что. Эта безнравственная очередь сменялась тогда с каждым новым поколением, пока не вышло благодетельное постановление, чтобы не венчать мужчин прежде восемнадцати, а женщин прежде шестнадцати.

По случаю счета годов молодым бабам начались у них спо-

ры, потом причитания разных достопамятных эпох, ознаменовавших историю деревни. Тогда-то был пожар, Аксюшка родила уродца с собачьей головой, Сидорка ошпарился в бане, Емелька напился до того, что вороны клевали у него глаза, волки ходили по улице среди белого дня. Пошли упреки, брань, к молодежи присоединились старушки, к старушкам мужики. Война разгоралась... Но ямщик тронул лошадей... Колокольчик зазвенел, полозья засипели, оставляя за собой два пушистые, блестящие искрами, хвоста... Замелькали верстовые столбы, напудренные рощи, поля, покрытые саваном снегов, длинные деревни, бабы, достающие воду из колодцев, наподобие журавлей на одной ноге, мохнатые лошаденки и полинялые коровенки, утоляющие жажду из оледенелых колод, опять и опять ходячие чучелки в огромных шапках с заломом и в сапогах по брюхо или в лаптенках. Но не все это скоро затушевалось. Завечерело на дворе; все предметы начали рябить в глазах и наконец потонули во мраке. Верстах в десяти от Москвы полный месяц затеплился на матовом небе и вскрыл прежнюю панораму, только при ночном освещении. Немного походя, разноцветная дуга обогнула месяц. «К добру!» – сказал Ларивон. «К морозу!» – прибавил ямщик и захолопал рукавичками. Прасковья Михайловна и Ваня не спали; мать потешала сына, указывая ему на живые картины зимы. То блеснет перед ними верста под хрусталем ледяной коры, то засверкает поле миллионами дрожащих искр, то сучья в роще, покрытые густым

инеем, протянут над путешественниками или страусовое перо, или пушистое марабу, или освеженное гроздь; иногда словно шаловливый леший осыплет кибитку горстями снега. Среди глубокой тишины распевает один колокольчик, да разве ямщик, для отдыха лошадей – а может статься, непонятное ему чувство попросилось у него в груди наружу – затянет свою грустную, замирающую песнь, которая так тешит и щемит душу. Бьет колокольчик реже; кажется, все слушает: и поля, и рощи, и самый месяц на небе. Но вот рассыпался крик и гам ребятишек по деревне, ямщик молодецки окликнул своих коней-судариков, мелькнул ряд моргающих в окнах огоньков, и опять среди глубокой тишины распевает один колокольчик. Забелели две пирамиды, поперек их лег шлагбаум. Кибитка остановилась. Ларивон побежал в карaulьню, ямщик слез, чтобы подвязать болтливый язык у колокольчика; лошади отряхнулись, подняв от себя блестящую снежную пыль, фыркнули, причем ямщик каждый раз приговаривал: «Будь здоров!» – и стали чистить морды, запущенные снегом, то об оглобли, то о тулуп своего хозяина.

Тогда на заставах было очень строго. Прасковья Михайловна забыла запасть видом, который в прежние ее поездки в Москву никогда от нее не требовали, и ей приходилось поворотить оглобли назад или ночевать в съезжем доме. Но целковый все уладил. «Подвысь!» – закричал целковый в виде засаленного сюртука с клюковым носом. «Подвысь!» – повторил бравый *ундер* архаровского полка, и Пшеницына с

трепетом сердечным въехала в Москву, сотворив широкое крестное знамение. Подвязанный колокольчик молчал; ямщик, озираясь робко, возвышал голос на лошадей; на улицах было пусто и жутко. Будто ехали по вымерзшему городу. Только изредка будочник постукивал в окно, чтобы гасили огни, хотя был только девятый час. На этот стук отзывался со дворов басистый лай собаки, и протяжно гремела ее тяжелая цепь.

Кибитка остановилась в Таганке, у каменного двухэтажного дома, белевшего среди длинных заборов. Нигде в нем не видать огонька. Доступ в старинные купеческие дома, особенно ночью, не менее труден, как в древние баронские замки, хотя нет около них ни рвов, ни мостов подъемных, ни рогатин. Ларивон нырнул в облаке пара, валившего от лошадей, и исчез. Тихо, сквозь железную решетку, застучал он в окно флигеля; тихо, сквозь форточку, опросил его голос. Вскоре без шума отворились ворота; будто из земли выступил маленький человечек, остриженный в кружок, в крашенном халате, и впился в ручку Прасковьи Михайловны. Осторожно въехала тройка на двор. Тут пошли опять постукивания и переговоры на заднем крыльце. Наконец отворились двери в сени. Чернобровая девка с длинной косой до пят, с помощью фонаря осмотрев сонными глазами приезжих в лицо, повела их вверх по каменной, изрытой лестнице. И на лестнице, и в сенях чистота необыкновенная, какой и ныне с заднего хода не бывает во многих купеческих и да-

же дворянских домах. Посмотришь с улицы – палаты; с парадного входа все, как и быть должно, по регламенту палат: комнаты великолепно убранные; мебель, обитая бархатом, стоит чинно, по ранжиру; полы блестят, хоть глядись в них. Зайдите-ка с заднего крыльца – вам бросятся в глаза кучи сора, в которых и завитки огуречной кожи, и разбитая посуда, и пучки волос; тут же обледенелые потоки помоев, клочки рогожек на дверях и художнические эскизы мелом национальной школы живописи; вас обдаст удушливый запах, который пропитает в один миг вашу одежду. Зоркий глаз Ильи Максимовича, казалось, проникал и в самые потаенные углы; дом содержался в величайшем порядке и опрятности, как и все дела его. В верхних сенях встретили приезжих: малый лет двадцати с небольшим и мальчик лет шестнадцати, прилично одетые, и немолодая женщина в платке на голове, которого одно крыло было на отлете, как у птицы, когда она ото сна только что выправляется из гнезда. Все приложились к ручкам Прасковьи Михайловны и Вани, а женщина, сверх того, осыпала их разными олимпийскими эпитетами. В одной из прохожих комнат стояла кровать с двумя или тремя перинами под ситцевым балдахинном. Она была пуста. Тут же от лежанки, за несколько шагов, пышал африканский жар, и на ней возлежала на заячьей шубке какая-то великолепная особа. Тяжело волновалась белая, пышная грудь, торчали две огромные ноги в синих шерстяных чулках с красными стрелками. Это было лицо без названия должности. В

наше время назвали бы ее фавориткой. Она проснулась, но не удостоила приезжих словом. Сама Прасковья Михайловна прошла около нее на цыпочках с подобающим уважением, зная, что такие именно особы обладают волшебным жезлом покровительства.

Не хотели тревожить Илью Максимовича, но чуткое ухо его слышало прибытие гостей. Накрывшись малиновым штофным одеялом, он велел позвать к себе Прасковью Михайловну. Это был старик лет семидесяти пяти, мощно построенный. Только недавно стал он поддаваться немочам и вдруг свалился в постель. Как дитя, обрадовался он приезду любимой невестки, не дал он руки своей, к которой она хотела было приложиться, нежно обнял ее и осыпал ласками мать и сына.

Прасковья Михайловна поместилась в ближайшей от него комнате, сделалась постоянною сиделкою у постели его, вставала по ночам, чтобы дать ему пить – лекарства он не хотел принимать, – утешала его своими рассказами и ласками. Ваня помогал матери развеселить старика. Фаворитке сделано было от Пшеницыной два-три приятные ей подарка и приобретено ее любезное внимание.

Раз, когда старик был в особенно приятном расположении духа и тела, он подозвал к себе Прасковью Михайловну. Время было вечернее; несколько серебряных лампад теплились перед иконами в золотых ризах, украшенных жемчугом и драгоценными камнями.

– Поди сюда, Параша, – сказал он и, когда та подошла к нему, ласково потрепал ее по розовой щечке. – Спасибо тебе, что старика не обездолила. Но спасибом сыт не будешь... Вот ключ – отопр-ка и выдвинь верхний ящик.

Тут вынул он из-под подушки ключ, передал его невестке и указал на комод, стоявший у кровати...

Прасковья Михайловна дрожа спешила исполнить это приказание. И что ж она увидела? Одна сторона ящика была набита кипами ассигнаций, синеньких, красеньких и беленьких, перевязанных тонкими бечевками, а на другой стороне лежали холстинные пузатые мешочки; сквозь редину их и дырочки кое-где вспыхивал жар золота. Молодая женщина никогда не видала такого наличного богатства; она то краснела, то бледнела и растеряла глаза свои.

Улыбка самодовольствия пробежала по губам старика: он радовался смущению невестки, которую, как дитя, взманил дорогою игрушкой.

– Все мое, Параша! – сказал он торжественным голосом и привстал с постели. Огромная тень от него покрыла молодую женщину и легла на стену. Старик был высокого роста, но ей показалось, что он еще вырос в эту минуту и занял собою всю комнату. Свет от лампад засиял на голом черепе его, окаймленном венцом серебряных волос. – Все мое! – повторил он, – да еще столько же в верхнем и нижнем ящиках. А меди в кладовой едва ль не до потолка. Все это будет *ваше*... (тут он остановился немного и перекрестился),

когда Богу угодно будет позвать меня в другую сторону. Там ничего этого не нужно. Честно, трудами нажито, благодарение Богу! Не с неба, как у иных, упало на меня богатство: отец и дед наживали, я приумножил. Не из Гуслицких лесов пришли ко мне капиталы; не топил я пустых барок – будто с казенною кладью, не удерживал у рабочих трудовых денег, не шильничал... но и не мотал. И вам завещаю то же. Ты знаешь, в чести ли я у своей братии; знаешь, что и господа знатные водят со мною хлеб-соль и жалуют меня своим приятством. А?..

– Знаю, батюшка.

– Думаешь, это мне так кланяются, мне так усердствуют? Нет, вот этим бумажкам, вот этому серебру и золоту, что в мешочках дрянных лежат. Сберегите это без жадности... Почему ж человеку и не потешиться Божьими дарами без вреда себе и людям? На то и дарами Божьими называются. Но, говорю вам, не мотайте. Сберегите мое наследство с добрым смыслом, с умным хозяйством, собственным глазом, и вам от малых и больших будет также почет. Не послушайте меня, вам же будет худо. Расточите добро, так все ваши други и лизоблюды побегут от вас, да над вами же будут насмехаться. Кругом вас останется мерзость запустения. Слышишь, Прасковья Михайловна?

– Слышу, батюшка.

– Ванюшку учите добру, порядку и хозяйству; пожалуй, учите и наукам, да только таким, какие пригодны купцу. По



мне, довольно бы грамоте русской и арифметике, да не моя воля!.. А воля-то, словно Божья, нагрянула на меня от матушки Екатерины Алексеевны. Премудрая была, дай ей Господи царствие небесное! Она это дело знала лучше меня. Сама из уст своих приказала.

– Разве вы с государыней говорили? – спросила Прасковья Михайловна.

– Осчастливлен был-таки, сударыня моя.

Старик сделал особенное ударение на этих словах и продолжал:

– Вот как было дело. В запрошлом лете ездил я с депутацией нашей братии купцов в Питер. Позваны были во дворец и допущены к ручке императрицы. Сначала струсил было я, да как повела она на нас своими ласковыми очами, так откуда взялась речь, помолодел десятками двумя годов и стал с ней говорить, будто с матерью родной. Завела она с нами речь о разных торговых делах, со мной особь о парчовой и штофной фабрике, о серном заводе. Такая дотошная, все знала, будто сама при всяком деле была. Потом изволила спросить меня: «Есть у тебя дети, Пшеницын?» – (Тут старик опять сделал ударение на своей фамилии). «Есть, говорю я, два сынка, матушка ваше императорское величество». – «А учил ты их?» – изволила опять спросить. – «Грамоте-де русской знают да счеты бойко, а меньший больно любит книги: не мешаю». – «Хорошо, а внучки есть?» – «И внучками двумя благословил Господь; еще малые». – «Так их учи. Учение

свет, а неучение тьма, а свет, знаешь сам, всему миру на добро. Не все иностранным купцам ездить к нам за нашим же товаром на своих кораблях. Пора и нам в широкое море, на русских суденышках; пора и нам стать с ними по плечо не только силою оружия, да и разумом, да и наукой. Учи своих внуков, старик; этим докажешь, что вы истинные дети мои и недаром называете меня своею матерью». – Вот что говорила мне матушка-царица. И я скажу тебе по завету ее: учите Ванюшку, да только чтоб было впрок, не на ветер... Пускай учится кораблики строить, пожалуй, и сам кораблик свой снарядит, да назовет его *дедушка Пиеницын*, ха, хе-хе! Пускай гуляет наше имя по широким морям и чужим берегам!.. (Глаза у старика загорелись необычайным блеском; он протянул перед собою руку, на которой выпукло изваяны были мускулы, и раздвинутыми пальцами широкой руки тянулся будто схватить сокровище в неведомых морях.) Но смотрите... не вздумайте его в офицеры. Чтобы он у меня оставался купцом! Слышишь, купцом! Я этого хочу, – довершил старик грозным, властительным голосом, и огромная тень его заколебалась на стене.

– Слушаю, батюшка, – отвечала Прасковья Михайловна дрожащим голосом, стоя все у открытого комода, и робко потупила глаза.

Старик, как бы утомленный, прилег на подушку, но вскоре спросил тихо и ласково:

– А хоромины, чай, у вас плохи, Параша?

– Стареньки, батюшка, в большой дождик сквозь потолок течет.

– Нечего скважины затыкать. Вот хоть мою старую хламиду как ни чини, а все развалится скоро. Вы с мужем люди молодые, вам и житье надо новое. Отодвинь-ка еще ящик... Впереди не тронь. Не смотри, что смазливый цветом, все ребятишки, дрянь, хе, хе, хе!.. Запусти-ка ручку подальше, в темный уголок... там все сотенные бояре!.. Даром что старички, можно около них погреться... Возьми стопочки две. Да, знаешь, чтобы не дразнить дорогой недоброго человека, зашей под поясом. Бери же, дурочка.

Дрожащими руками взяла молодая женщина две кипы асигнаций там, где указывал свекор; на ярлыках каждой написано было: десять тысяч. Она взглянула на надписи и, показав Илье Максимовичу, промолвила: – Не много ли, батюшка?

– Что взято, то взято, – сказал старик ухмыляясь, – слушай: как приедешь домой, пошли от мужа Ларьку к хозяевам пустыря, что на Московской большой улице, против Иоанна Богослова... дескать, твой муж накидывает за места со старую рухлядью сто рублей против того, что я давал. Люди в нужде, обижать не надо. Максим приедет, купчую совершите. Простору много – целый квартал, стройте, что вздумается, да чтоб было все каменное, вековое. Знай, что дома Пшеничных!.. А как заложите хоромы, так я новорожденному пришлю на зубок еще стопочки три седеньких старичков...

чтобы рос скорее.

Невестка хотела поцеловать руку у свекра, но тот не дал руки, а поцеловал ее в малиновые губки, как сам их называл.

– Да куда Ванюшка запропастился? Позовите его ко мне.

Позвали Ваню, которого также очень любил старик. Он указал ему на выдвинутый ящик комода.

– Помнишь, поросенок, – сказал он, – считал ты со мною все шиши да шиши? (Ваня в первые годы своего детства называл так тысячи, которые перебирал с дедом на счетах.) Возьми, что полюбится; ведь ты также ухаживал за стариком.

Ваня заглянул в ящик и с неудовольствием сказал:

– Вишь какой деда, бумажками потчует; мне давай золотых арабчиков.

– Нечего делать с дурачком; развяжи, Параша, первый мешочек-то налево, с краю, *все супротивни*<sup>2</sup>. Пускай хватает горсткой и сыплет себе в карманы, что наберется. Слышь, на эти деньги ему особую горенку, да чтоб штофом вся была обита – не покупать стать, с своей фабрики.

Прасковья Михайловна развязала мешочек, указанный свекром; из него полился блестящий поток империалов. Ваня захватил горстью, что могло в ней набраться, и сказал:

– Довольно.

– Не жаден будет, – заметил старик. Мать сочла деньги,

---

<sup>2</sup> Так звали империалы времен Елизаветы и Екатерины, которых грудные изображения чеканились на монетах с правой и с левой стороны, как бы одно против другого.

прибавив:

– Чтоб не растерял! – Это действие видимо понравилось старику. Он сказал ей спасибо, да кстати приказал ей заштопать дырочки, оказавшиеся в мешочках.

Долго не могла заснуть молодая женщина, строя в мечтах своих палаты на пустыре. В Холодне было много каменных двухэтажных домов, но она хотела поставить дом на удивление всем. И во сне снились ей волшебные замки из литого золота, с такими причудливыми затеями, какие только рассказываются в сказках или из воска выливаются на святочных вечерах; снился ей также какой-то сказочный царевич у ног ее. Прасковья Михайловна прожила с лишком три недели у свекра, в том числе и масленицу, и стала скучать. Она горела нетерпением отвезть домой начатки своего богатства; казалось ей, в доме свекра они еще не принадлежали ей. Между тем Илья Максимович старался сделать как можно приятнее ее пребывание у него: давал ей своих рысаков для катания к ледяным горам и к бегу, которые тогда на Москvere кепели народом; заставлял молодого слугу и мальчика играть камедь – чьего сочинения, неизвестно. Старшее лицо представляло мельника-колдуна, обсыпанного мукой, в седом парике и с бородой из конских волос; младшее исполняло роль дурачка-угольщика. В этом игрище было много народного юмора, пересыпанного, однако ж, такими непристойными остротами, что Прасковья Михайловна просила скорее прекратить эту мужицкую забаву, как она назвала ее.

Это очень удивило всю дворню, и немудрено. В то время, и даже до десятых годов XIX столетия, в Москве без «мельника и угольщика» не обходилась почти ни одна богатая купеческая свадьба или пирушка. Наштукатуренные и черно-зубые купчихи, подгулявши (заметьте, они считали за величайший стыд и порок пить вино при мужчинах, но удалялись в особенную потаенную горенку вкушать его под именем меда), заливали остроты скоморохов простодушным хохотом, а иногда, за перегородкой, награждали ловкого колдуна и тайным поцелуем. За комедией выступал обыкновенно доморощенный трубадур с бандурой, с песнями и пляской. Дивные штуки выделывал он ногами, да и каждая косточка в нем говорила. А как подскочит под самый нос пригожей купчихи, поведет плечом, на которое вскинет клетчатый платок, и обдаст ее, как кипятком, молодецким спросом: «аль не любишь?» – так восторгу не было конца. Но венцом его искусства был какой-то *сальтомортале*: на всем скаку раздвинет ноги вперед и назад и упадет на них так страшно, что, казалось, должен был бы разодраться пополам, а он понемногу, как стрела, станет опять на ноги. Зато, когда артисты, окончив представление, обходили зрителей с тарелкой в руках, со всех сторон сыпались на нее щедрые дары мелкою и крупной серебряной монетой, между которою попадалась иногда и золотая.

Любил Илья Максимович тешить себя и честолюбивую невестку рассказами о связях своих с тогдашними знатными

господами, о том, как они живут, да как убраны у них палаты, как он обращался с ними уважительно, да и себя не ронял, а тех, которые вышли из подьячих, да зазнались, дразнил игрою своего миллиончика или намеком на нечистое дельце. Гордился он очень знакомством своим с графом Алексеем Григорьевичем Орловым. «Вот русский боярин! алмаз-боярин! – говаривал он. – Посыпьте перед ним дорожку золотом, да по грязи, не захочет замарать рук своих, чтобы подбирать их. Не то что какой-нибудь шематон, изроет целую навозную кучу, чтоб достать червончик, да еще подумает, нельзя ли из навозу сделать золота. И осанкою, и мощью, и духом, всем взял! Стоит на кулачном бою промеж черного народа, а тотчас видно, что боярин! Кажись, ласков и с малым ребенком, а глазами поведет, так поневоле хватаешься за шапку».

– А знаешь ли, Прасковья Михайловна! – прибавил Илья Максимович, – в прошедшем лете не погнушался в гости к моему Гаврюшке. (Тут указал он на Ларивонова старшего брата, остриженного в кружок, в чуйке из зеленого порыжелого бархата с цветочными дорожками, в галстукке, затянутом наподобие ошейника.) Проведал как-то граф, что у него диковинный голубь – турман, что ли, пес их знает – да и приехал с приятелями посмотреть. «Я, – говорит, – не к Илье Максимовичу, а к Гавриле его». Уж и потешил Гаврюшка мой важного гостя! Понесся голубь воронкой все выше и выше, забил крылышками, словно двумя серебряными листи-

ками, потом стал в небе пятнышком не более гроша, да и пропал... Навели трубу, и в нее не видать! Думал я, уж не ястреб ли скушал. А голубь вдруг замелькал в высоте поднебесной и стал словно клубочек, разматываться, разматываться, да как падет сверху кувырком, примером сажень пятьдесят, и бряк оземь, прямо к ногам его сиятельства. Все диву дались и захлопали в ладоши. Граф вынул из кошелька штук пять золотых, отдал их этому дураку, да погладил его по голове. Да вот и возгордился Гаврюшка, – прибавил Илья Максимович, – надел ныне бархатную чуйку. Подарил ведь с плеч своих. Кажись, будни.

– Для Прасковьи Михайловны, батюшка, Илья Максимович, – сказал человек, остриженный в кружок.

– Чай, своя! Смотри, брат, не заламывайся; знаешь, не люблю мотовства. У меня, Параша, вот какой обычай. Припадет кому из них охота до чего – возьми у меня, сколько угодно, на развод; да только, чтоб впрок шло, и назад долг отдай. Гаврюшка к голубям пристрастился: на, купи, брат, голубей, да чтоб не были дрянь, отборных. Вот и купил, и богат стал от голубей, и долг отдал. Так и мельнику-бандуристу дал на струмент и дурацкую одежду: впрок пошло – молчу и по головке поглаживаю. А зашалит да замотает, так у меня разом полетит на завод нюхать серу. А кстати, Гаврюшка, из какой заморской стороны добывают много серы?

– Цыцыла, – отвечал Гаврила.

– Ха-ха-ха! Цецилия, говорил я тебе; Цецилия, дурак!



Ведь я сам, Параша, учился, неравно спросит по серному заводу матушка-императрица.

И Прасковья Михайловна, чтобы угодить на случай старику, твердила про себя имя заморской страны Цецилии, откуда добывают много серы.

На конце первой недели великого поста Илья Максимович, чувствуя себя гораздо лучше, так что мог бродить по комнатам, и заметив по лицу Прасковьи Михайловны, что в гостях хорошо, а дома лучше, благословил ее на возвратный путь. Собрались уже после обеда. «Смотри, душа моя, ночуй в Люберцах, – говорил он, провожая невестку, – а то в Волчьих Воротах шалят».

Кто ездил по холоденской дороге, тот не мог не заметить на возвышенной равнине, за двадцать верст с небольшим от Москвы, несколько вправо от дороги, одинокую сосну, вероятно, пережившую целый век. Так как окрестные жители искони хранят к этому дереву особенное благоговение и не запахивают корней его, то оно свободно раздвинуло кругом на несколько сажень свои жилистые сучья, из которых образовалась мохнатая шапка. В тени ее могут укрыться несколько десятков человек. Видно, она стала тяжела старому богатырю, и он кверху несколько согнул под нею свой стан. Это дерево подало Мерзлякову мысль написать известную песню:

Среди долины ровныя на гладкой высоте  
Стоит, растет высокий дуб в могучей красоте.

Она была во времена оны в таком же ходу по всей Руси, как «Черная шаль» Пушкина. Только по самоуправству по-этическому сосна превращена в дуб.

Когда с сосной поравнялась кибитка, в которой ехала Прасковья Михайловна с двумя сокровищами – сыном и богатым подарком свекра, уж начинало темнеть. Предметы стали сливаться; только одинокое дерево в своей черной, мохнатой шапке господствовало над снежною равниной. Ветер наигрывал в его сучьях какую-то заунывную мелодию и взметал около него снежный круг. Показалась деревня *Теряевка*. Вся она из четырех, пяти дворов, без улицы. Избы наподобие свиных клетухов, солома на крышах взъерошенная, как волосы у пьяного мужика, кругом поваленные и прорванные плетни, двory без крыши – все это худо говорило о довольстве и нравственности жителей. Сквозь маленькие окна, заткнутые кое-где грязными тряпицами, заморгали подслеповатые огоньки. Ветер колотил по крышам не утвержденные на них жерди. Одно имя Теряевки звучит недобрым смыслом, и недаром: сюда переселены были из каких-то дальних поместий избранные негодяи; ввиду – деревня Волчьи Ворота, где не один прохожий и проезжий потерял свое добро и свою голову. Сделалась темь, только что чертям за волосы драться. У крайней избы, вросшей в землю, послышался какой-то зловеший свист. Этому свисту отвечали далеко впереди. Сердце дрогнуло и сильнее забилося у

ямщика, Ларивона и молодой купчихи. Ямщик толкнул слугу и стал с ним перешептываться, слуга взглянул на госпожу свою. Ваня спал крепким сном возле матери. Тут вспомнила Прасковья Михайловна слова свекра и поздно раскаялась, что не послушалась его совета ночевать в Люберцах. Лишиться такой важной суммы, какую она везла, может быть, видеть, как зарежут сына ее, и умереть самой во цвете лет, с такими блестящими надеждами, под ножом разбойника... – подумала она, и вся кровь ее прилила к сердцу.

– Голубчик, Ларивон, худо? – спросила она, – не воротиться ли назад?

– Что назад! – перехватил ямщик. – До Островцов рукой подать, а назад до первой деревни добрых пять верст. Не ночевать же в разбойничьей Теряевке!

– Сотворите крестное знамение, барыня, – сказал Ларивон, – Бог милостив. У меня мушкетон, а в случае нужды на подмогу топор.

– Дай мне топор, – сказала она.

– Пожалуй, да что вы с ним сделаете?

– Что смогу.

Она приняла тяжелое орудие, но не могла сдержать его и положила возле себя. Ларивон, осмотрев мушкетон, посыпал пороху на полку из патрона, который вынул из-за пазухи.

Ямщик поехал шагом... Как будто в лад общему настроению, и колокольчик робко зазвенел.

– Пошел! – закричала молодая женщина, – ты уж с ними

не заодно ль? Первому тебе этот топор.

– Не мешай, барыня, – отвечал сердито ямщик, выхватил из кибитки топор и положил его в свое сиденье, – не твое дело. Разбуди-ка лучше дитя, чтобы не испугался.

Потом снял шапку, перекрестился и промолвил:

– С крестом худых дел не делают.

Мать, невольно повинувшись ямщику, разбудила ребенка.

– А что, приехали? – спросил Ваня, встрепенувшись и протирая глаза.

– Нет еще, а близко... услышишь, может, крик... не пугайся... это ямщик хочет вперегонку с знакомым ямщиком.

– Где ж, мама?

– Впереди, голубчик, тебе не видать за лошадьми.

Продолжали ехать шагом... колокольчик нет-нет звякнет, да и застонет... Уж чернел мост в овраге; на конце его что-то шевелилось... За мостом – горка, далее мрачный лес; в него надо было въезжать через какие-то ворота: их образовали встретившиеся с двух сторон ветви нескольких вековых сосен. Мать левою рукою прижала к себе сына, правую сотворила опять крестное знамение.

– Теперь держитесь крепко, – сказал ямщик и гаркнул изо всей мочи: – Эй! соколики! выручайте, грабят!..

В голосе его было что-то дикое, отчаянное; казалось, лес вздрогнул от этого крика и повторил его в бесчисленных перекатах. Лошади, и без принуждения привыкшие выносить в гору так, что не было еще человека, который мог бы удер-

жать их на подобных выносах, рванулись и помчались, будто бешеные. Что-то крякнуло на мосту, полетели куски жерди, которою он был загорожен, кто-то застонал... порвалась бранная речь, перехваченная ветром... Все эти звуки следовали один за другим по мгновениям ока так, что чуткое ухо сидевших в кибитке, ловившее малейший признак опасности, могло смутно различить их. Кибитка взлетела на горку и понеслась будто по воздуху. Между тем что-то ударило в волчок кибитки и раздробило его верхушку, послышался ружейный выстрел... Ваня закричал и прижался к матери. Разъяренных коней не могли удержать ближе Островцрв.

В деревне отрадно забегали со всех сторон огоньки в фонарях и обступили кибитку; слышались ласковые голоса, приглашавшие проезжих переночевать и обольщавшие ямщика и дешевым кормом, и крупчатыми папушниками с липовым медом. Он угрюмо молчал и въехал в знакомый постоялый двор. Пар от лошадей застлал двор.

Кибитка подъехала к чистому крылечку, устланному соломой. На нем старушка с добродушным лицом встретила приезжих и осветила им дорогу фонарем. Горенка, в которую они вошли, напитанная смоляным запахом от стен только перелетовавших, была чистая и теплая; свет от лампы, теплившейся перед иконами, обдал их каким-то благодатным чувством. Первым делом Прасковьи Михайловны было броситься на колени и со слезами благодарить Господа за спасение ее с сыном; Ваня сделал то же по ее приказанию.

Она была бледна, наскоро оправилась и за самоваром почти забыла только что минувшую беду.

Вошел ямщик, сердитый, угрюмый, почесал голову и с досадой бросил свою шапку на залавок.

– Ну, барыня, – сказал он, – крепко обидела ты меня... поусумнилась во мне...

– Прости мне, голубчик мой, – перебила Прасковья Михайловна, – не в своем разуме была... сам посуди, возле меня дитя... один только и есть... ведь и у тебя, чай, дети.

И слезы помутили глаза молодой женщины.

– Кабы не этот мальчуган, не бессудь – закаялся бы во веки веков возить тебя по дорогам. Ну, да ты добрая барыня (тут ямщик махнул рукой); на тебя и зла нет!.. А все-таки лошадак полечить надо, да и мне не худо отвести душу.

Прасковья Михайловна вынула из кошелька, висевшего у ней на груди, два имперяла из Ваниных денег и отдала ямщику. Мальчик знал, что эти деньги ему подарены, и весело смотрел, как отдавали их.

– А что лошадки, не больно ли ушиблись? – спросила она.

– Благо разбойничья жердь пришла в упор хомутам... царапины есть на всех, одна похрамывает, да Бог не без милости!.. А коли зачахнут, знаю, не обидишь меня. Пшеницыны по Холодне первые люди, а ты краля холодненская.

– Вот тебе Господь свидетель (и она указала на образ), если случится беда какая, приходи ко мне прямо... я поставлю тебе тройку таких же лихих лошадей. А для чего вырвал ты

у меня топор? – прибавила Прасковья Михайловна.

– Неравно померещилась бы тебе невесть какая напасть... у страха глаза велики, бес лукав... да пришла бы тебе блажь хватить меня топором. Убить бы не убила... где тебе!.. а шкуру бы попортила. Вот тут уж разбойнички сделали бы свое дело.

Расхохоталась молодая женщина, и мир был заключен.

В Островцах она давала как-то в долг богатому мужику на свадьбу двадцать пять рублей. Обещался отдать через неделю; божился всеми угодниками, клялся и детьми и утробой своей. Прошло месяца два. Теперь был случай получить деньги. Но много труда и ходьбы взад и вперед стоило Ларивону, чтобы вытянуть эти деньги. Да и тут должник, отдавая их Прасковье Михайловне, вместо благодарности, почесал себе голову и примолвил: «А что ж, барыня? надо бы на водку».

Приехали в Холодную, в старый, бедный домик. Казалось, после поездки в Москву он сделался еще древнее и сумрачнее, еще болееросло на него моху, который выступил из-под снега, уже много сбежавшего. Но вскоре возвратился из своих странствований Максим Ильич. Свидание молодых супругов было самое нежное. Прасковья Михайловна рассказала мужу, с каким успехом съездила она в Москву и какому страху подвергалась на возвратном пути в Волчьих Воротах. В свою очередь, муж рассказал ей, как за несколько лет тому назад, в плавание его с караваном судов по Волге,

в Кос – ой губернии, напала на него шайка разбойников, а атаманом у них был князь К – ий. Этот князь имел дом, в виде замка с башнями, на берегу реки, и занимался с своею дворнею грабежом проходящих судов. Молодой Пшеницын отделался от него страхом и несколькими сотнями рублей<sup>3</sup>.

Место под новый дом тотчас было куплено, спешно началась заготовка под него материалов. Оно занимало почти целый квартал и выходило на три улицы. Было где разгуляться капиталам Ильи Максимовича! Закипела работа, и в марте потянулись к пустырю целые обозы с лесом, камнем и кирпичом; застучали сотни топоров, ломы начали шевелить остов одряхлевшего, давно не обитаемого дома; с писком и криком высыпали из него стаи встревоженных нетопырей и галок. Эта постройка составила важную эпоху в городе, едва ли не равную с построением кремля. Толпы народа ходили глазеть на нее, как на необыкновенное зрелище. Каждый толковал о ней по-своему; домостроительным фантазиям этих прожектеров не было конца. Иной возводил здание едва ли не с Ивана Великого, другой вытягивал его сплошь на все три улицы. С этого времени жители еще ниже кланялись семейству Пшеницыных. Но добрый Максим Ильич не переменялся к своим согражданам: был так же ласков и общителен с ними, как и прежде всегда. Только, не знаю почему, стал на *ты* с властями, которые с ним были на *ты*, хотя и прежде не уни-

---

<sup>3</sup> Сам внук князя К – аго, молодой человек, очень образованный, подтвердил мне все это в 1836 году.



жался перед ними, но не выходил из церемониального *вы*. Странно, и власти не обижались этой переменной, водворявшею равенство между дворянином и купцом.

Между тем родители Вани вспомнили, что пора ему приняться за учение. Приходский священник взялся за это дело, и вскоре обрадовал отца и мать, что ученик прошел без наказания букварь в один месяц, когда он сам в детстве употреблял на это целый год с неоднократными побуждениями лозы.

В Холодне, кроме тревожной постройке дома Пшеничных, ничто не изменяло мертвой тишины города. По-прежнему нарушалась эта тишина мерными ударами валька по мокрому белью и гоготанием гусей на речке; по-прежнему били на бойнях тысячи длиннорогих волов, солили мясо, топили сало, выделывали кожи и отправляли все это в Англию; по-прежнему, в базарные дни, среди атмосферы, пропитанной сильным запахом дегтя, скрипели на рынках сотни возов с сельскими продуктами и изделиями, и меж ними сновали, обнимались и дрались пьяные мужики. По воскресным дням толпы отчаливали к городскому кладбищу, чтобы полюбоваться на земле покойников очень живыми кулачными боями. Пузатые купцы, как и прежде, после чаепития упражнялись в своих торговых делах, в полдень ели редьку, хлебали деревянными или оловянными ложками щи, на которых плавало по вершку сала, и уписывали гречневую кашу пополам с маслом. После обеда, вместо кейфа, беседовали немного с

высшими силами, т. е. пускали к небу из воронки рта струи воздуха, потом погружались в сон праведных. Выбравшись из-под тулупа и с лона трехэтажных перин, а иногда с войлока на огненной лежанке, будто из банного пара, в несколько приемов осушали по жбану пива, только что принесенного со льду; опять кейфовали, немного погодя принимались за самовар в бочонок, потом за ужин с редькой, щами и кашей, и опять утопали в лоне трехэтажных перин. Как видите, жизнь патриархальная! Немногие избранники отступали от нее. Книжки в доме ни одной, разве какой-нибудь отщепенец-сынок, от которого родители не ожидали проку, тайком от них, где-нибудь на сеннике, теребил по складам замасленный песенник или сказки про Илью Муромца и Бову Королевича. Ныне уж не то: мотишка-сынок, тайком от отца, читает «Вечного жида», курит дорогие сигары и пьет напропалую шампанское.

Прекрасный пол в Холодне имел тоже свои умильные забавы. Купчихи езжали друг к другу в гости. Посещения эти начинались киванием головы, как у глиняных кошечек, когда их раскачивают, и прикладыванием уст к устам. Затем усаживались чинно, словно немые гости на наших театральных подмостках; следовали угощения на двадцати очередных тарелках с вареньями, пастилою и орехами разных пород. При этом неминуемо соблюдалась китайская церемония бесчисленных отказов и неотступного потчивания с поклонами и просьбою *понудиться*. Кукольная беседа нарушалась

только пощелкиванием орешков и оканчивалась такими же китайскими церемониями, с прошением впредь жаловать и не *бессудить* на угощение. И возвращались гости домой, довольные, что видели новые лица, подышали на улице свежим воздухом и свободой!

Надо оговорить, к чести граждан, что чистота нравов, несмотря на грубую оболочку, крепко соблюдалась между ними. Хлебосольством искони славился город. Когда стояли в нем полки, мундиры у солдат, через несколько месяцев, делались узки, и считалось обидой для зажиточного хозяина, если постоялец его офицер держал свой чай и свой стол.

В городе ни одного трактира. Они появились только незадолго до двенадцатого года. Да и то купеческие детки, даже сначала мещанские, ходили в них тайком, перелезая через заборы и пробираясь задними лестницами, под страхом телесного наказания или проклятия отцовского. С того времени ни одна отрасль промышленности не сделала у нас такого шибкого успеха, и вы теперь не только в Холодне, но и по дороге к ней от Москвы, почти в каждой деревне, найдете дом под вывескою елки, трактир и харчевню.

Случались, однако ж, в городе важные происшествия, возмущавшие спокойствие целого населения. То появлялся оборотень, который по ночам бегал в виде огромной свиньи, ранил и обдирал клыками прохожих; то судья в нетрезвом виде въезжал верхом на лошади и без приключений съезжал по лесам строившегося двухэтажного дома; то зарезывался

казначей, обворовавший казначейство. Полицейские личности в городе были то смиренные, то сердитые; большей частью их отличали не по уму и честности, а по степени огня в крови; но, во всяком случае, они приходились по городу, как домово́й, по народному поверью, всегда люб во всяком жилье, хотя бы и проказничал над своими жильцами. Администрация и суд творились в духе патриархальном, без большого поощрения бумажной фабрикации. Дела, по обыкновению, делались через секретарей. Подьячие довольствовались малым и брали больше за исполнение, нежели за обещания, жили умеренно, экипажей и лошадей не знавали, жен и любимиц своих не одевали, как богатых барынь, и не прикасались устами к струям шипучей ипокрены, хотя и можно было дешево черпать из нее на Арбате под вывеской: *здесь делают самое лучшее шампанское*. В Холодне не сказали бы того, что я слышал лет десять тому назад в одном уездном городе от продавца вин, у которого спрашивал шампанского: «А что, батюшка, будем мы делать, когда вдова Клико помрет?» Пили, правда, много, очень много, но с патриотизмом – все свое доморощенное: целебные настойки под именами великих россиян, обессмертивших себя сочинением этих напитков наравне с изобретателями железных дорог и электрических телеграфов, и наливки разных цветов по теням ягод, начиная от янтарного до темно-фиолетового.

Были однако ж в городе замечательные личности, и мы обязаны посвятить им особенную тетрадь.

Весна дохнула на землю своим теплом и благоуханием, накинула зеленую сетку на рощи, ковры на луга, заговорила лепетом своих ручьев и шумною речью своих водопадов, запела песнями любви и свободы своих крылатых гостей. Пришло и лето. Ваня, в сопровождении Ларивона, посетил прежние любимые места свои; по-прежнему отзывалось в его сердце сердечное биение природы. Но не так часто уж гулял он: Ваня полюбил *книгу*.

Между тем дом Пшеницына рос не по дням, а по часам. Из ветхого каменного здания между тем сколотили домик, на который надстроили деревянный этаж. Верхний должен был служить для временного житья самих владельцев, нижний назначался для служб. Флигель этот с выведенным уже вчерне большим каменным двухэтажным домом, соединили галереей на арке. В нижнем этаже этого дома устроили с одной стороны две огромные кладовые, а с другой – две большие комнаты: одну для залы, а другую для Вани. Пшеницыны хотели переезжать на новое жилище, когда получили с нарочным известие, что Илья Максимович умирает.

Застали еще старика при последних минутах. Он успел только благословить сыновей своих, невесток и внучек. Похороны были великолепные; два дня таскали из кладовой мешки с медной монетой, которую раздавали нищим, запрудившим улицу. Раздел между сыновьями совершился полюбовно, как сделали бы его промеж себя Орест и Пилад. Что хотелось одному, того не желал другой. Женщину, бывшую

при старике и не носившую названия своей должности, вы- проводили со двора без уважения, но и без обиды, со всем ее скарбом.

Потянулся в Холодную обоз с сундуками, из которых несколько было с «Божьим милосердием», как называет русский человек иконы – самое дорогое свое достояние; другие – с разным движимым имуществом. Все это едва могло уместиться в двух кладовых. И сами владельцы этого богатства, тотчас по приезде в Холодную, переселились на новое жилище.

# Тетрадь II

## Замечательные городские личности

Характеристику лиц, современных Пшеницыным, Максиму Ильичу и его сыну, начнем с генерации городничих. Не знаю почему, их типы скорее схватываются.

Ее открывает Язон, или, как его называли в городе, Насон Моисеевич Моисеенко, поручик в отставке. Ему близ шестидесяти. Маленький, худенький, с лицом наподобие высушенного яблока, с острым носиком, в рыжем паричке, завитом, как руно крымского барашка. Букли и коса, все это маленькое, дорисовывают его портрет. Голос тоненький, пискливый. С характером уступчивым, робким, он боялся граждан, а не граждане его боялись. Принесут ему сахару полголовки, чайку четвертку, нанки на исподнее, полотенчико с крестьянскими кружевами, сапожную щетку – ничем не гнушается, все принимает с благодарностью. Сам ни на что не напрашивается. Разве придет в лавку, да полюбуется иной вещицей, повертит ее не раз в руках своих и скажет: «Хорошая вещица!.. Чай, дорога?..» (А вещь стоит всего два гривенника.) – «Для вас, Насон Моисеич (его уж и не величали благородием), для вас плевое дело. Позвольте завернуть и уложить на ваши дрожжи» (так граждане для приличия на-

зывали *войлочки*, род роспусков, с войлоком на них)<sup>4</sup>. И принимает он эти приношения и подобные, рассыпаясь в благодарениях и оговорках: «Да зачем это? да к чему это?.. я и на грош вам не заслужил. Неравно узнает начальство... лишусь места... отдадут под суд».

Иногда, в крайности, очертя голову, отважится на сильнейший куш. Была не была! А после и трусит. Ночь не спит, мучительно ворочается на постели, отмахивается от ужасной мысли, как будто от неотвязчивых мух, да не раз спрашивает кухарку, не слышать ли ревизорского колокольчика, словно у ревизора колокольчик с особенным звоном. Готов с передачей отдать, что получил. Не дождется утреннего солнышка. Вот и солнце заглянуло к нему в окно. Посылает рассыльного за таким-то, дескать крайняя нужда. Приходит такой-то, и умоляет он его взять назад. «Батюшка, будь благодетель, ради Бога, развяжи душу. Всю ночь не спал». И возьмет приноситель, посмеется да плюнет в сених и отнесет куш письмоводителю. А потом, видит Насон Моисеич, ревизор не едет, и жалко ему станет приношения. Чего бы, думает, не сделал на него! Куш был экстренный – не дождешься скоро такого.

И крепко призадумается Насон Моисеич, и грустно ему станет, что не взял хорошего куша.

По части порядка и чистоты в городе не требует, не грозит, а умоляет. Посреди улицы валяется по нескольку дней

---

<sup>4</sup> Такие *войлочки* были в употреблении у московских извозчиков, если не ошибаюсь, до 12-го года. Их заменили *калиберные* дрожки.



лошадиная падаль и заражает целый квартал, пока воронья плотоядные не истребят ее и ветры буйные не иссушат. Грязь на торгу по колена, дети-нищие тонут в ней (говорят, были две жертвы). Придут благодатные летние деньки с припеком солнечным, когда изжаренная трава хрустит под ногами и на торгу сухохонько. «Вот видите, – умиленно говорит он лавочникам, – сам Бог высушил, инда пыль глаза ест!» – «Простой, богобоязливый человек!» – отзывались об нем граждане, и, верно, соорудили бы ему памятник, если б на памятник не потребовалось денег, а можно было бы соорудить его из грязи и костей лошадиных.

Суд творил он коротко и ясно. «Ты, братенько, прав, – говорил он одному, – потому что тебя обидели, а ты прав, – говорил он другому, – потому что он тебя выбрал. Следовательно, вы оба неправы. Помиритеcь-ка лучше, да поцелуйтесь». Помиряются, поцелуются тяжущиеся, да выйдут за ворота на широту поднебесную, выбранят городничего на чем свет стоит, затеют опять ссору, вцепятся друг другу в волосы, клочка два-три полетят у каждого; кто кого сможет, тот и прав останется. А иногда и в самом деле помиряются, да и запьют мир добрым крючком пенного под веткой оливы, в виде ельника, прославляя городничего.

Случалось иногда, что Насон Моисеич не на шутку расходится, только не сам собой: на подвиги раскачивал его письмоводитель. Раз как-то ссора двух граждан оканчивалась подобною мировою сделкой. Но вот письмоводитель по секре-

ту зовет Насона Моисеича в ближнюю комнату. «Что это вы, ваше благородие, настоящая мокрая курица? И так вами в городе, словно тряпицей, потирают. Этак с вами и служить нельзя». И вот Насон Моисеич, пришпоренный такой речью, встает на дыбы, входит в азарт и, сдернув на одно ухо свой рыжий паричок в завитках, бросает гром и молнию в камере судилища. Прикажет ответчика наказать за то, что виноват, а правого, чтобы вперед не ходил жаловаться. «У меня в городе все тихо, и муха не смеет ворчать. Ни гу-гу! Настоящее благословение Божие! – говорил он, гневно ходя вокруг стола. – А тут какой-нибудь вольнодумец, беспардонный, вздумает мутить да ябедничать, да в доносы ходить! Пожалуй себе, и прав, и очень прав, да зачем нарушать спокойствие граждан? Не тобой город начало имеет, не тобою и стоит. Пускай стоит, как стоял!» Почтальон, с упоением сердечным подслушивая у дверей, ждет своего сыра. Позовет к себе тяжущихся и накажет только того, который не смог заплатить выкупные. Вследствие такого премудрого суда и дел за номерами в полиции очень мало оказывалось: все делалось больше на словах и на палках. К чести Насона Моисеича надо оговорить, что последнее делопроизводство он употреблял очень редко, и то когда письмоводитель раскачает желчь со дна этого чистого сосуда.

Наконец приехал в город, десять лет с таким страхом ожидаемый, начальник-ревизор. Ужасные дни! они отняли у городничего несколько лет жизни. Ревизор был человек доб-

рый, приятный; в бумагах много не рылся, за очисткой нумеров не гонялся. Узнал, что городничий человек неприятельный, с живого и мертвого не драл, жалоб на него не имелось, и остался всем доволен и благодарил. А все-таки, пока его особа пребывала в городе, Насон Моисеич чувствовал себя неловко, как будто и чужой мундир надел, и рыжий паричок скоблит его череп. То словно его крапивой посекут, то в ледяную ванну опустят. Надо было видеть, с какой дипломатической тонкостью ехал он с начальником на дрожках, которые выпросил у предводителя! Балансер, да и только!.. Угроздило его сидеть на корточках, в таком виде, как громовая стрела изображается на картинках, зигзагом, одной рукой держится за ободок козел, другой, как заяц подстреленную лапку, покачивает в воздухе, а носками сапогов упирается в подножки, не смея ни одной частью своей персоны прикоснуться к подушке. Еще бы! на этой подушке восседит важная особа, которой одно мание бровей, как у громовержца Юпитера, может смять его в прах и оставить без куска хлеба. «Видно, Господь умудрил его сидеть на дрожках не сидя за его добрую душу!» – говорил голова, ехавший за ними в своей линейке.

Все, казалось, шло хорошо. Но ревизор пожелал видеть временную арестантскую при полиции. Вот ведет Насон Моисеич, немного окураженный, великую персону к сенцам и останавливается у дверей. «Извольте головку наклонить, – говорит он, – не стукнуться бы лобиком о косяк». – Преддв-

рие тюрьмы не представляет ничего страшного. Вместо орудий казни в глаза бросаются одни любезные идиллические предметы: ненакрытое ведро с водой и плавающий на ней ковшик с изумрудными букашками, стопочки две-три дров, небрежно развалившиеся, онучки сторожа, растянутые для просушки против сквозного ветра, жиденькая метла, которую, как видно, очень обижали, вытаскивая из нее прутья для чистки платья или на другое употребление. Ключ к месту заключения у самого Насона Моисеича; он держит его в мундире, у сердца своего, как и подобает. Вот прикладывается ключом к огромному замку, но еще раз умильно обращивается на своего начальника и предостерегает его, чтоб он был невзыскателен, арестанты-де грубый и невоспитанный народ. «Сколько у вас здесь арестантов?» – спрашивает ревизор. «Только три человека, ваше (и прочее), – отвечает градоначальник, – здесь не только злодеяния, и моральные проступки очень редки. Мораль между жителями примерная!» Надо заметить, что на французских словечках он очень упирал: дескать, знай наших.

Входят в арестантскую. Это большая изба; половину ее занимает русская печь, сколоченная из глины. Ревизора обдаёт атмосфера, от которой он напрасно старается освободиться, то отдуваясь, то отплеываясь, то зажимая нос. В избе никого не видно. Насон Моисеич со страхом осматривает все кругом и тоненьким, пискливым голосом окликает арестантов: «Арестанты! арестанты! где вы?» – Нет ответа. Он ищет

глазами, носом, всем своим существом, заглядывает во все углы, под нарами, на печке, в подпечьи, в печурках; взывает опять жалобным, отчаянным голосом, как будто зовет свою Эвридику: «Арестанты! где вы?» – Нет арестантов. Ревизор помирает со смеху. В это время появляется письмоводитель, чтобы развязать узел этой ужасной драмы. На носу его, толстом и красном, торчат нахально два стеклышка в медной заржавленной оправе; голова его, прилично наклоненная, дрожит, руки также трясутся, но не от страха... Нет, это чувство еще никогда не колебало такой души, привыкшей к ежедневным подвигам. С приходом его вносится густая струя воздуха, напитанного вином и луком. Отрывистым, но твердым голосом, как человек самостоятельный, знающий свое дело, он объявляет, что еще рано поутру выпустил арестантов, потому что на деле они оказывались невинными. Как сделал этот фокус ловкий письмоводитель, когда ключи были у городничего, это осталось покрыто густой завесой тайны. Снисходительный к слабостям человеческим, ревизор и не взял на себя труда ее исследовать. Кончилась вся история одним смехом главной персоны. Но на городничего она так подействовала, что он, по отъезде ревизора, слег в постель и не вставал с нее боле.

Во время болезни все бредил арестантами и взывал жалобным голосом: «Арестанты! где вы?» Перед смертью пришел в рассудок, исполнил свои христианские обязанности, попросил у всех прощения, в чем кого обидел, не намекнул

даже письмоводителю, что умирает от его руки, и завещал похоронить себя в рыжем парике, чтобы в гробу ему не было стыдно.

За гробом шло много народу. За ним следовал письмоводитель, держа шпагу в руках, печальный понуря голову, как бывало в рыцарские времена верный конь, носивший своего господина в боях и на турнирах, следовал за носилками его, чтобы положить свои кости в одной с ним могиле. Купечество сделало богатые поминки, стоившие больших денег; ели и пили много в память своего бывшего благодетеля. Но когда (по приглашению Максима Ильича) приступили было к подписке на уплату его долгов, которых оказалось рублей на шестьдесят по счетам (может, и с некоторой добросовестной приписочкой на умершего), все отозвались, что и так много потратились на вина и прочее угощение для покойника. Вследствие чего Пшеницын один взял уплатить долги и содержать старушку кухарку, крепостную его женщину, оставшуюся без крова и куска хлеба. Кухарка, как увидим, наделала много хлопот своему благодетелю.

Сделали верную опись оказавшемуся после покойника имению; присяжные ценовщики оценили его в 36 рублей 27 и  $\frac{3}{4}$  копеек. Но как наследников налицо не оказалось, то и приступили к вызову посредством публикации, не означая цены имению. Между тем нанята каморка для хранения вещей и отдана лошадь в полицию, чтобы содержать ее. Войлочки взял себе на память письмоводитель. Через год на-

следники отыскивались. Но когда они потребовали имение или деньги по выручке за него с аукционного торга, то оказалось, что с них следует довызывать, сверх вырученной суммы, еще рублей двадцать пять и столько-то копеек с дробями за наем комнаты для хранения вещей и за содержание лошади. Дело об этом тянулось лет десять и на него изведено бумаги на сумму, которая превышала самое взыскание. Кухарку, попавшую тоже в опись, за старостью лет никто не согласился взять.

На безыменной земляной насыпи, под которой навсегда почили Насон Моисеич, поставлен деревянный крест усердием кухарки, и ею же творились по нем поминки. Но и те скоро замолкли. Только неизменные с веками солнышко и месяц попеременно, да звезды рассыпные приходят и поныне голубить своими лучами могилку его, как и прочих братьев, почили на общей усыпальне; только ветры непогодные прилетают на нее с своими заунывными песнями и гуляют покойников в их смертной колыбели. Еще чадолюбивая церковь не перестает ежегодно поминать всех их в общей своей молитве. Бог знает, и могилка-то Насона Моисеича *его* ли нынче?.. Может быть, два-три новые вечные жильца пришли занять ее и потеснить в ней кости бывшего начальника целого города.

Не знаю, какой дурной человек выучил Ваню разыгрывать роль городничего, отыскивающего своих арестантов. Все помирали со смеху, когда мальчик, щуря глаза и ныряя по сторонам, взывал тоненьким, пискливым голосом: «Арестанты!

арестанты! где вы?» Но Ларивон скоро прекратил эту комедию, сказав Ване, что стыдно и грешно передразнивать покойника.

После Насона Моисеича принял бразды правления какой-то коллежский секретарь. Он был из числа тех господ, которые носят романическое имя и половину фамилии своего отца. Назовем его просто Модестом Эразмовичем. Это был человек порядочно образованный по-тогдашнему, писал отличным почерком по-французски и даже сочинял русские стихи. Презентабельная наружность говорила в его пользу. Он всегда был одет щегольски. Так и сияло от него перстнями, золотом массивных цепей с разными побрякушками и дорогими булавками в виде пылающего сердца, колчана со стрелами и голубя, несущего во рту письмо. Особенно имел он искусство, даруемое только некоторым избранныкам, поражать взоры ослепительным блеском солитера на указательном пальце.

Разница в управлении городом между начальниками была неизмеримая. Предшественник никогда ни на шаг не отличался из города под опасением, что его расстреляют, если он нарушит это правило; а преемник почти никогда не бывал в городе. Первый трясся на войлочках, окутав ноги тряпичей, а второй спокойно ездил на дрожках, ничем не покрывая глянцевитых своих сапог. Один имел письмоводителем низенького старичка, с носом в виде кровяной колбасы, на котором нахально торчали два стеклышка вроде очков,



а другой привез своего письмоводителя, высокого, средних лет, с орлиным носом, у которого кончик был очень бел, как бы отмороженный, но заметьте – с носом, не терпящим никакого ига. У одного письмоводитель пил горькую и закусывал луком, у другого пил сладкую и замаривал водочный запах гвоздикой и амбре. Секретарь Насона Моисеевича делал только *свои* дела, а секретарь Модеста Эразмовича – домашние и служебные дела свои и своего начальника с неутомимым рвением и преданностью, отчего расходы просителей и вообще граждан получили быстрое развитие и преуспевание. Сначала жители ощутили эту разницу, немного втайне проптали, но, едва прошло несколько недель, попривыкли к новому ходу дел, как привыкает ко всему человек, сумевший ужиться и между льдами полярными, и под зноем тропиков. Впрочем, как скоро новый письмоводитель ознакомился с жителями, а еще более вник глубоко в статистику их состояний, он очень уравнительно, по правилу товарищества, *обложил* каждого, не обходя и сумы нищего, а купцы *наложили* маленькие проценты на товары и съестные припасы. Вскоре граждане обучились считать городничего и его штат какой-то законной повинностью. Нового письмоводителя начали также провозглашать благодетелем человечества и говорили при этом: «Вот и Насон Моисеич, дай Бог ему царствие небесное! уж не добрая ли была душа... а все-таки, бывало, гнет на закон. Все упрашивал, чтобы купцы не скупали ничего за заставами. Это, говорит, какое-то манноболе! Вид-

но, по-малороссийски или по-чухонски, прости Господи! Не равно, говорит, приедет ревизор, меня и вас всех упечет под суд. Толку что в нем, что честный, – ни себе, ни людям! А этот – молодец, никого не боится, любит взять, да и нашему брату любит дать поживу».

Новый благовоспитанный городничий был очень далек от всех этих проделок. Попробуй принести, турнет, что и своих не узнаешь. Он сердито на словах гнал взяточничество и даже написал оду на лихоимство, где представил его во образе какого-то ужасного чудовища, пожирающего собственных детей. А вздумай кто жаловаться на письмоводителя, погнет так, что ступеньки все на лестнице его пересчитаешь. Не пожалеет и солитера!

Так жители забыли добрейшего Насона Моисеича и обращались к Модесту Эразмовичу только с высокаторжественными поздравлениями, в том числе и в день его ангела.

Как выше сказано, новый городничий большую часть дня, иногда и ночи, проводил вне города. Почти каждый день ездил он к какой-то графине, жившей врознь с мужем, в богатом поместье, за несколько верст от Холодни. Ее протекции обязан он был своим новым местом, и зато в благодарность исполнял при ней должность домашнего секретаря. А так как графиня занималась сочинением французских романов, довольно многотомных, которых рукописи любила иметь в нескольких экземплярах, то и записывался он до изнеможения сил. В нынешнее время графиня взяла бы в секретари

француза, но тогда в России иностранцы были редки, особенно трудно было их найти для должности домашнего секретаря. Все были старые роялисты!.. Собираясь к графине, чтобы явиться к ней в приятном виде, он часа два тщательно занимался туалетом своим: чистил себе ногти, артистически обдывал свои букли, помадил губы, пудрил лицо, надев свой солитер, долго любовался им и т. п.

Сверх того, Модест Эразмович страстно любил охоту с ружьем. Стрелял он так метко, что попадал в серебряный пятак. Письмоводитель, которого он определил в эту должность за то, что несколько лет таскался с ним по болотам и носил застреленную дичь, хотя и славился своей мастерской стрельбой, попадал только в медный пятак. Может быть, как политичное лицо, он немного кривил ружьем и душой, чтобы не помрачить славы своего начальника. Новый городничий посвящал также несколько часов сочинению стихов. Эти стихи, большей частью эротические или любовные, как их называли, ходили между властями по городу и даже губернии. Немудрено, что многие из песен дошли до нас в песенниках того времени и те, которые считаются лучшими в этих сборниках, принадлежат, конечно, тогдашнему городничему. С дамами мог бы, но боялся быть очень любезным, потому что люди, при нем в услужении находившиеся, принадлежали графине.

Так как он обретался более в уезде, чем в городе, то и прозвали его уездным городничим. В этом названии, как и во

многих других, довольно метких, был виновен добрейший Максим Ильич Пшеницын, который, несмотря на свой кроткий, миротворный характер, любил почесать язычок на счет других. Это была врожденная слабость, за которую он не раз дорого платился и однажды едва не подпал большой беде.

Уездный городничий ласкал Ваню и имел отчасти влияние на его воспитание. Модест Эразмович научил его первым правилам стихотворства и декламации. Ваня с одушевлением и верно читал его стихи перед многочисленной публикой и даже раз произнес русский акrostих, заранее переведенный на французский язык, перед поэтической графиней, которой городничий представил его как ранний Талант. Ваня декламировал стихи «с толком, с чувством, с расстановкой», и графиня наградила ранний талант поцелуем и французским молитвенником в роскошном переплете. *«Будь добродетел, имей нрав чист и благочест»*<sup>5</sup>, – сказала Ване русская графиня и дала городничему поцеловать свою ручку в знак благодарности, что привез такого милого цитатора стихов. Надо сказать, что эта высоконравственная женщина, покинувшая своего мужа за его беспутную жизнь, когда ей было гораздо за сорок лет, одевалась иногда в подражание островитянкам Тихого океана – в каком-то легком, полувоздушном пеньюаре, обрисовывавшем очень хорошо ее роскошные формы.

---

<sup>5</sup> В десятых годах знал я одну русскую графиню, которая так худо по-русски говорила, что даже и другие аристократки над ней смеялись.

Раз зашла откуда-то в Холодную цыганка-гадальщица и предсказала, что городничие тамошние не будут долго сидеть на месте. Как сказала, так и сделалось. Через два, три года Модест Эразмович очень захирел, вышел в отставку и отправился с графиней поправлять свое здоровье на какие-то воды, изумительно восстанавливавшие силы.

Преемником его был титулярный советник Герасим Сазоныч Поскребкин, собою молодец, и ростом и дородством взял. Грудь широкая, выя хоть сейчас под ярмо, глаза как у рыси, спокойствие и твердость невозмутимые во всех трудных обстоятельствах жизни. Он был женат на приемыше какой-то знатной особы, под покровительством которой и состоял. О! этот далеко обогнал своих предшественников. Надо сказать, что он, сколько известно было, служил прежде каким-то полицейским чиновником по пожарной части и потерял это место за неблаговидные дела, потом проходил служение в каком-то месте вроде экзекуторского.

Здесь обнаружил он широкие способности к экономии. Так, отпуская на канцелярию свечи, сберегал из них некоторое количество не только для своего домашнего обихода, на что начальство посмотрело бы сквозь пальцы, но и для дешевого распространения сального света по городу. Это бы еще ничего. Слабость к сальным свечам!.. Вот, например, что может быть гаже зеленого фонарного масла? Что ж делать, я имею слабость к зеленому фонарному маслу. Зеленое масло, особенно когда оно горит *à petit jour*, производит на

меня какое-то магическое действие. Вы не поверите? Право, не шучу. Впрочем, не я один с таким странным вкусом: в каждом порядочном городе вы найдете мне товарища гебра, поклонника фонарного огня, горящего от зеленого масла. Затем Поскребкин имел слабость к бумаге. Отпуская бумагу канцелярским служителям, удерживал он утонченным хозяйственным образом из каждой дести по несколько листов, а из каждой стопы по несколько дестей. Таким образом, в известный период времени накапливалось достаточное количество стоп, которые, заведомо краденые, покупали у него мелкие торговцы. Для избежания чего начальство вынуждено было накладывать на бумагу штампель того места, которому принадлежала бумага. С дровами опять экономия! Из каждых двух покупаемых сажень выводил он три, а когда недоставало дров, рубил на отопление и заборы.

Поскребкин был человек ловкий, умел угодить. То на паперти выхватит коверчик из рук выездного за женой своего начальника: она к церкви, а уж под ноги ее Герасим Сазоныч стелет коверчик, и награжден улыбкой; то при выходе ее из театра он первый прокричит: карета ваша подана! Тут приветливое кивание, а он успеет хоть подол салопа ее посадить в карету, да еще дружески раскланяться с выездным, которого когда-то употчивал в трактире. «Какой прекрасный, услужливый человек этот Поскребкин!» – говорила жена начальника своему мужу. И швейцар первой особы в городе жмет «со своим почтением» щедрую руку ловкого че-

ловека. Случится ли пожар, он тут, хотя и не его дело, и первый в глазах начальника зажмет мощной рукой то место пожарной кишки, которое прорвалось. На другой день начальник видит его с обожженным ухом или с подвязанной рукой. Он хвастался, что, когда был на службе в какой-то глухой губернии, никто лучше его не умел управлять кишкой пожарной трубы. Особенно мастер был на это дело, в угождение какого-то главного начальника, который, катаясь с ледяных гор, приказывал опрыскивать из трубы каждого, кто осмеливался смотреть на его забавы.

Но, увы! несмотря на все эти угождения, начальник, увидав, что хозяйственные таланты Поскребкина все более и более совершенствуются и принимают ужасающие размеры, сначала говорил, что постыдно так воровать. Потом, видя, что эти учтивые намеки не помогают, сказал ему наедине, в кабинете, что он плут, вор, мошенник и что нельзя с ним служить. Поскребкин, с благородным достоинством ударяя себя в грудь, отвечал: «Ваше!.. (и прочее: надо заметить, что он своих начальников величал всегда одной степенью выше, нежели какую они имели) изволите обижать меня понапрасну. Ей-богу, понапрасну! Я вором и мошенником никогда не был. И на что мне? Я сам имею состояние – деревушку в Расторгуевой губернии; довольствуюсь малым». Начальник, высчитав все хозяйственные его проделки, очень вежливо опять повторял прежние деликатные имена и просил сделать ему одолжение избавить его от служения с ним. Тут По-

скребкин, показывая на угол комнаты, восклицал ярким, бассистым голосом, вылетающим из широкой груди его: «Чтоб мне сальным огарком подавиться! Утроба моя разорвалась бы от одного листа бумаги! Детей моих перебило бы поленом дров! Вы изволили видеть, жена моя беременна... чтоб она родила бревно вместо живого ребенка, если я посягнул на разорение хоть одного столба в заборе!.. А я еще уповал (тут он говорил более жалостным голосом, фистулой), что ваше (и прочее), как всегдашний мой благодетель и отец, удостоите быть у меня крестным отцом! Помилуйте! Каким-нибудь куском сала или ветошным отребьем захочу ли марать свою честь!» Потом начинал кулаком утирать слезы, упрекал в клевете своих недоброжелателей, которые будто требовали от него *акциденции*, да он, помня присягу и долг благородного человека и верного сына отечества, не посягнул на такие гнусные дела. «Чтоб им так сладко было, как мне теперь, перед лицом великодушнейшего, благороднейшего из начальников! Ежедневно молю Господа за здоровье ваше и вашей супруги... Божественная женщина!.. Чтоб Господь даровал вам хоть одно детище на порадование ваше! Помилосердуйте, ваше (и пр.). Жена, куча детей, мал-малым меньше... пить, есть надо...» Говоря это, Поскребкин думал, как искусный оратор, какую мимику употребить в пособие своему красноречию. Поцеловать у начальника ручку? – неравно ткнет его в глаз огнем сигары. Броситься в ноги? – оттолкнет, как гадину, концом своего сапога. И не решился ни на



то, ни на другое. А начальник думал: настоящий разбойник! как бы еще не задушил!.. Однако ж порешил это дело тем, на чем его начал: Поскребкин должен был выйти в отставку.

Не долго, только полгодика, томился он в ней. Жена бросилась к своей покровительнице, расплакалась, жаловалась на несправедливость начальства, на коварство и недоброжелательство клеветников и наушников и успела до того разжалобить сильную особу, что та обещала ей свою протекцию и даже назвала бывшего главного начальника Поскребкина человеком без сердца, злодеем. *Un homme sans foi, ni loi* – прибавила она, обратись к сидевшему у нее генералу. Даже, говорят, попрекнула гонителя бездетностью.

И вот Поскребкин городничим в Холодне. Здесь представился широкий кругозор его наклонностям; начальства для него в городе не было. «Гуляй, мой меч!» – сказал бы он, если б знал стихи из новейших трагедий. Тут начались у него – ведь голодал шесть месяцев – ненасытные припадки каких-то appetitов. То появятся appetиты на сахар, осетрину, стерлядь, лиссабонские и прочие съестные и питейные припасы, то на сукно или материю для жены. Давай то и другое, пятое и десятое. Беда, коль не заморить этих прихотей. Берегись тогда первый купец, попавшийся ему на глаза: сейчас оборвет, да еще хуже чтоб не наделал. «Пожалуй, чего доброго, подлец и впрямь обесчестит, наплюет в глаза!» – говорит торговец, который успел ему подвернуться. И несет с низким поклоном от усердия своего. Наконец вкусы По-

скребкина до того стали разнообразиться, что слюнки у него потекли на все, что жадным глазам его только полюбится, даже на коров, на лошадей. Может быть, со временем пришел бы аппетит и на домик; но, как увидим далее, Максим Ильич умел разом пересечь припадки его бешеного обжорства.

Ездил Поскребкин, развалясь в крытых дрожках, на чубаром иноходце с такой же пристяжной, которая завивалась кольцом и ела землю. Вот увидал он у Максима Ильича кровного серого рысака; спит и видит – достать рысака. Вихрем прокатит на нем хозяин: кажется, так и топчет им городничего.

– Воля твоя, – говорит Поскребкин Максиму Ильичу, – уступи, брат, серого коня. И во сне меня мордой пихает. Аппетит на него такой припал... слышь (тут он взял руку своего собеседника и приложил ладонь к желудку), так и ворчит: по-дай ры-са-ка! Не дашь, свалюсь в постель, будешь Богу отвечать. Я ли тебе не слуга?

– Поворчит, – отвечал Пшеницын, – да и перестанет, а я тебе по этой части не лекарь. Серого коня любит жена, не отдам ни за какие деньги.

– Ой ли?

– Сказал.

– Последнее слово?

– Решительное.

– Ну, смотри, брат Максим, доеду.

– Доезжай, а я куда поеду на рысаке. Еще будь раз на-

всегда сказано: бесчестных и незаконных дел не делаю и не только тебя, *никого* не боюсь.

– Помни ты у меня эти слова! – сказал Поскребкин и погрозил своим пальцем, как жезлом.

– Никогда не забываю, готов повторить и повыше кому.

С того времени городничий и рвет и мечет и кипит гневом на Пшеницыных. Еще более разожгли его следующие случаи. На другой день в церкви у обедни Прасковья Михайловна стала впереди городничихи, а после обеда проехала мимо окон ее на лихом сером рысаке, в новых щегольских дрожках. Мелькнула молнией, и сердита и блистательна; да еще обдала городничиху, будто в насмешку, облаком пыли.

– Купчиха лезет вперед! Я все-таки начальница города, – говорила жена городничего. – Воля твоя, это афронт. Я этого не потерплю, я напишу к моей благодетельнице. Как хочешь, Герасим Сазоныч, ты у меня упеки ее в тюрьму, чтобы не хвалилась; не то разведусь с тобой.

Выжидая случая подкосить Максима Ильича, как говорил Поскребкин, он продолжал безбоязненно свои подвиги. Так забывают этого рода люди свои прежние невзгоды, иногда нужду, холод, голод, страдания целого семейства, лишь только на новом месте удаются им новые незаконные приобретения. Так-то бывает... Придет беда – люди охают, стонут, обещают исправиться, обновиться и просветиться добром; пройдет невзгода – забывают все, и опять принимаются за старое, и опять погрязают в тине невежества, в неге взяточ-

ничества.

Приведут в полицию краденую лошадь с вором – конокрада выпустят, а похищение рано или поздно делается достоянием Поскребкина, словно он всеобщий наследник. Является за лошадью хозяин крестьянин. Он обегал более ста верст по разным уездам, упустив дома важные полевые работы, от которых живет целый год, растряс на мошенников и колдунов последние свои деньжонки, чтобы указали ему только на след *живота* его. Услужливо ему выводят лошадь из полицейской конюшни. Скотина его, по всем приметам, описанным в явочном объявлении! И масть та же, и конец уха также обрублен, и грива лежит на ту же сторону, как у пропавшей лошади. Его, да не его. Жена притащилась с ним и дочерью выручать своего доброго воронка. И они также признают ее. «Вот, – говорит старушка, – и сама признала нас: заржала, кормилица, и мордочку к нам протянула, только нас завидела. В какой стороне была ты, моя голубушка? По каким мытарствам не водили тебя! Чай, не вовремя попоили, не всласть накормили, а, может, и вовсе целый денек была не евши. Легче б нам самим без хлебушка оставаться». И начнет старушка причитать разные нежности своему животу и выть над ним. Дочь подставляет руку свою под морду лошади, и та лижет руку, которая привыкла ее лакомить краюхами хлеба, посыпанного солью. «Наша, да и только, матушка», – говорит девка и от радости целует воронка. Действительно, их лошадь, а выходит не их. У их лошади на одной ноге белое

пятнышко, а у этой вся нога словно в черный чулок обута. Опытный глаз увидел бы, что пятно закрашено черной краской. В явочном объявлении стоит белое пятнышко на ноге. «Так ли, мужик?» – спрашивает беспристрастный письмоводитель. «Так, батюшка, грешить нече», – отвечает горюн. Где ж мужику признать косметическую подделку?.. Приходится отступить. Почешет старик голову, почешет грудь, горько вздохнет да поохает с старушкой, а делать нечего – знать, лукавый подшутил над ними. Но девке не так легко расстаться с воронком; видно, натура молодая и неопытная! Обвила шею его своими мощными, загорелыми руками и замерла на ней, несмотря на брань полицейских служителей! Рыдая, говорит она: «Наш, свято слово, наш! Не расстанусь с тобой, родной мой, кормилец ты наш!» – И пуще прежнего сжимает шею коня в своих объятиях. Позвали городничего. Мигнул он двум бравым молодцам... Разом оторвались от лошади две девичьи руки, как две гибкие ветви молодой березы, дружно сплетшиеся: хотели было молодцы куда-то потащить девку, да... взглянули на городничего. Тот махнул рукой, плюнул и скрылся, чтоб, неравно, не случилось при нем какого несчастья. Девка лежала полумертвая на земле, пена клубом била у ней изо рта...

Таким образом и другими фокусами краденые забежные лошади поступали в собственность Поскрескина. Также и краденые самовары, кастрюли, оловянная посуда, якори, рожи, бечевки – все ценное поглощалось ненасытной утрово-

бой его. В известный, благоприятный период времени, под укрывательством волчьей ночи, все эти вещи укладывались в краденую телегу, в которую запрягали лошадь неотысканного хозяина, и отправлялись с верным служителем в деревушку Герасима Сазоновича, род закутки, укрытой лесами и охраняемой болотами. Так понемногу из песчинок невидимо слепиваются дома и большие состояния!

Случилось однажды богатому купцу, по неведению ли законов, по намеренности ли, сделать какой-то проступок. Виноват, да и только. Приходило ему худо, и добрые люди советовали ему отнести сотнягу рублей Герасиму Сазонычу. Так и сделал купец. Главный советник его по этому делу дал знать Поскребкину о куше, который ему готовится, и о часе, в который сделано будет приношение. В это время остановилось в городе, по болезни или по домашнему делу, значительное лицо. Вот приходит *по секрету* к городничему виновный купец. Ласково принимают его. Он осторожно заворачивает за собой дверь и, объяснив, что у него есть такое и такое-то дельце, просит пощады; вместе с этим осторожно, с низкими поклонами, кладет на стол куверт, немного отдувшийся. Для вящего эффекта положены в него все синенькие. Надо было видеть, как гневно привстал Поскребкин во всю громадную высоту свою, как он вскипел гневом, швырнул на пол куверт так, что бумажки разлетелись, и закричал громовым голосом, потрясшим стены: «Что это?.. Подкупать?.. Меня?.. Разве я взяточник?.. Поклянешься ли, что я брал

от тебя когда-нибудь?.. Под колоколами спросят. Разве я не присягал служить, как подобает верным подданным? Господа, прошу засвидетельствовать». А тут как тут выросли из земли три свидетеля. Впереди сам страж законов, богобоязненный старичок, с постным лицом, выплывает мерно и, ныряя головой, точно утка со своими утенятами скользит по зеркалу пруда, где рыболовы закинули невод. Он смиренно делает какие-то знаки рукой на груди, словно готовится на какое-нибудь благочестивое *дело*. За ним невозмутимо выступает своим брюшком купец, тоже должностное лицо. Он держит пальцы правой руки, налитые брагой, между петлями сюртука. Сзади, господствуя над всеми взъерошенной головой, выказывает свой острый, бекасиный носик надзиратель, испитой, длинный и прямой как верстовой столб. В его глазах видны одно холодное бесстрашие и строгое исполнение своего долга. Он знает, что от сладкого пирога ему достанутся только корки.

Улика налицо. Купец помертвел и бросается в ноги городничему. «Не погубите, ваше благородие, – вопиет он отчаянным голосом. – Не сам собой, помutilи худые люди». Нет пощады! Записать в журнал, да и только; отослать деньги в пользу богоугодного заведения!

В ту же минуту, с быстротой электрического телеграфа, сказал бы я, если б электричество было тогда изобретено, и потому скажу – с быстротой стоустой молвы, честный, благородный, примерный поступок Герасима Сазоныча разносит-

ся по городу и доходит до ушей значительного человека, который, по болезни или по домашним обстоятельствам, остановился в городе. Значительный человек в неопisanном восторге от этого неслыханного подвига, желает видеть в лицо городничего, чтобы удержать благородные черты его в своей памяти, рассыпается в похвалах ему, говорит, что расскажет об этом по всему пути своему, в Петербурге, когда туда придет, везде, где живут люди. Мало – надо непременно в газетах напечатать об этом во всеобщее сведение, на поучение всем городничим и прочим правителям. С такими высокими мнениями о Поскребкине и чувствами удивления к его душевным качествам значительный человек уезжает из Холодни. Чем же все это оканчивается? Чтобы замять и потушить дело, купец вносит уже, по секрету, не сто, а пятьсот рублей, да еще задает на славу обед. Никакое богоугодное заведение не записывало у себя на приход ни одной копейки из этих денег. Надо прибавить к чести Герасима Сазоныча, он на этот обед не явился, но уговаривал всех ехать, говоря, что купец человек прекрасный, только опростоволосился по наущению недобрых людей, желавших его погубить.

Раз как-то на двор к Максиму Ильичу въехала лихая тройка одной масти. Под дугой гудел заливным звоном валдайский колокол; бубенчики лепетали разными звуками, мастерски подобранными от самого тоненького до самого густого. В звуках этих был какой-то музыкальный строй. Покрышка красного сукна обвивала сбрую на лошадях; медь в



бляхах, звездах и полумесяцах, казалось, должна была сдавить коней. Пестрый, с азиатскими узорами ярких цветов, ковер упал с кресел пошевень почти до земли. Всю ширину пошевень занимала огромная медвежья шуба и поверх ее торчала, похожая фигурой на башню с куполом, высокая шапка из серых мерлушек с бархатным верхом зеленого цвета. Кучер был в нагольном тулупе, выдавшем разные виды и непогоды на своем веку, и потому носившем какой-то неопределенный цвет, не то желтый, не то красный, не то буро-пегий. Рядом, свесив с кучерского места ноги в холодных сапожках, которыми изредка постукивал один об другой, сидел мальчик лет тринадцати, остриженный в кружок. Он также был в овчинном тулупчике, только совершенно новеньком, что можно было не только видеть по мучистой белизне его, но и слышать по запаху. Нарядом своим он очень занимался; это заметно было из движений его рукавов, которые поднимал попеременно, смотря на них с особенным удовольствием. Казалось, он любовался в них сам собой, как в зеркале. На голове у него нахлобучена была высокая шапка из порыжелых мерлушек, беспрестанно наезжавшая ему на лоб. Вероятно, ее сняли с большой головы, взявши, однако ж, предосторожность удержать ее по возможности на мальчике, о чем можно было также догадаться по нескольким веткам сена, упорно выползавшим из-под шапки. Тройка лихо завернула к крыльцу. Ваня играл в это время на дворе в снежки.

– Что, дома тятенька? – спросила медвежья шуба. Это был исправник Трехвостов.

– Дома, – сказал Ваня и побежал к отцу повестить о приезде госте. После того он уж не показывался в гостиной, потому что всегда чувствовал какой-то страх к Трехвостову.

И немудрено. Трехвостов был мужик ражий, широкоплечий, но сутуловатый. Оспа так обезобразила его лицо, как будто первоученик портной вывел на нем суровыми нитками грубые швы и рубцы и выковырял толстой иглой брови и веки. Слеза всегда била у него из глаз, как у старой болонки. Голос его, казалось, выходил не из груди, а из желудка. Правда, он считал этот орган едва ли не лишним. Вся беседа его обыкновенно происходила в нескольких словах, произношение которых иногда сбивалось на сдержанное мычанье коровы. До смысла их слушатели доходили с трудом, да и не гонялись за смыслом, зная, что его не оказалось бы много, если б он изъяснялся и в более обширных размерах. В уезде называли его прекрасным человеком, а он считал себя честнейшим, потому что не брал от дворян взяток деньгами, а разве некупленными съестными припасами для себя и лошадей. Пощечиться, где можно, от казны и купцов, дело другое. «Что им? богаты!» – говорил он. От крестьян любил только угощение. «Добрейшая душа! – говорил в одной деревне староста, у которого торчала одна половина бороды (русский человек незлопамятен), – только больно сердцем горяч». Бывало, разъяренный, заскрежещет зубами, ка-

залось, съест тебя, даст волю кулакам, тога и гляди убьет, а за клочком бороды, как староста, уж и не гоняйся. Зато сердце скоро и сбежит, словно с гуся вода. Опомнится, снимет перед битым шапку, да еще поцелует его. «Не взыщи, брат, – молвит он, – больно горяч! Так матушка уродила». Надо сказать, что у русского мужика голова вылита будто из чугуна. Лежит себе на печке, а серо-зеленая мгла угара стоит с потолка по пояс избы. Ему ничего, тогда как у вас в этой избе в две, три минуты затрещит череп. Посмотришь на сельских праздниках, – пьяный мужик за углом клетки замертво валяется в ужасном виде: голова проломлена, кровь бьет из носу и ушей. Пьяный ли, падая, ударился об угол клетки или подвизался в рукопашном бою? кто его знает. Только и думаешь, послать бы за лекарем да за попом. «Э, батюшка, не тревожьтесь напрасно, – говорит брат или сын родной, – бывалое дело!» И подлинно, не для чего было тревожиться. Окатят холодной водой, а иногда дело и без того обойдется: сделает богатырскую сыпьку на полсутки без движения, потом встанет как ни в чем не бывало, да только попросит опохмелиться.

Любил-таки покушать Трехвостов. Еда для него была все равно, что жвачка для коровы. Чего и в какое время дня и ночи не был он в состоянии проглотить! Не раз случалось, что он бывал на двух закусках и двух обедах, через час на каждом. Он ел и пил за вторым так же аппетитно, как и за первым. По окончании последнего говорил иногда: «Много

ли надо человеку, чтобы сыту быть!» Последствий от таких пресыщений никогда не случалось, кроме двух, трех лишних часочков сна – хоть на кочке болотной или в полдень на солнечном припеке. Зато мог, как верблюд, оставаться по целым суткам без еды. Разве заморит червяка коркой хлеба, посыпанного солью едва ли не в толщину самой корки. Делавшим ему в этом случае замечание, почему он своей провизии никогда не возит, отвечал: «А на что ж я и исправник?» Но испытать эту диету случалось ему очень редко, и то разве в дремучих лесах, на ловле разбойников. Когда он приезжал на следствие, головы, старосты и приказчики угощали его отборными сельскими яствами на убой и питиями до положения.

Велел Пшеницын принять гостя.

Пыхтя, ввалился он в гостиную, молча обнял Максима Ильича, также молча подошел к руке Прасковьи Михайловны, которая только наклонилась к щеке его. и, в осторожном расстоянии, послала ей поцелуй.

– Не за делом ли? – спросил Пшеницын (а случались у них дела по караванам, проходившим в уезде).

– Нет, братец. Помолчали.

– А закусить... будет?

Подали закуску: икры, пирог, ветчины окорок, холодного поросенка, холодной телятины, копченого гуся и графин ерофеичу. Будто голодный боа, глотал гость куски полного блюда в ужасающих размерах; к концу закуски графин

был пуст. Это упражнение продолжалось с полчаса; изредка только кряхтел и пыхтел он, как иногда мужик, когда рубит очень твердое дерево, кряхтит, чтобы придать себе силы. Наконец, Трехвостов встал, молча обнял Максима Ильича, опять с той же процедурой подошел к ручке Прасковьи Михайловны, взял свою шапку, в виде башни, и вывалился в переднюю. Влез было он в своего медведя, да вдруг ударил себя широкой ладонью по лбу, сбросил медведя и воротился.

– Забыл.

– Что такое? – спросил Максим Ильич.

– Прошу... завтра... на свадьбу, Прасковью Михайловну... посаженной матерью. Удостойте. Му!..

– К кому же? – спросила она.

– Вестимо, ко мне... к моей невесте, гм!

– По нашему обычаю, должен об этом просить ближний родственник невесты.

– Какие родственники!.. (Тут он махнул рукой.) Знаете Палашку?

Максим Ильич знал под этим именем у Трехвостова довольно красивую девку или женщину средних лет. Она являлась для прислуги приезжих гостей босиком, но в черевичках, с ситцевым платком на голове и такой же материи шалью, которой крест-накрест покрывала грудь и опоясывала себя так, что назад торчал горбом огромный узел с длинными концами. Иногда Пшеницын видал ее с подбитым глазом и волосами, причесанными в подозрительном беспорядке. Вслед-

ствие этих соображений, он видимо смутился и не знал, что отвечать. Но Трехвостов и не дал ему этого труда и опять спросил: «Видал ребятишек? (тут указал он на переднюю). Один здесь... Накормили ли его?»

– Накормили, – сказал Ларивон, прибиравший опорожненную после закуски посуду.

– Ладно.

Максим Ильич не отвечал. Он также видал у Трехвостова двух дворовых мальчиков, лет тринадцати и одиннадцати, которые за столом бойко подавали и принимали тарелки. Трехвостов опять не дождался ответа и продолжал. На этот раз он разлился таким потоком слов, какого Пшеницын не слыхивал с первого знакомства с ним. «Проворные ребята!.. Третий пищит еще в люльке. Три девки... две уж славно шьют в палатах. И баба служила мне верой и правдой. Сколько побоев от меня приняла! Признаюсь, братец, больно горяч, таким матушка уродила!.. жаль их! Хочу все венцом прикрыть. Неравно карачун... отнимет деревню мерзавец брат, му!.. останутся без куска хлеба, да еще, чего доброго! в крепость возьмет...»

– Доброе дело, – сказала жалостливо Прасковья Михайловна, у которой навернулись слезы при этом рассказе. – А свадьба неужели завтра?

– Завтра, спешу. Вот видите, шея коротка (тут он шелкнул себя по шее пальцами); подчас бьет в голову, будто молотом кто тебя ударит... наклонен к пострелу.

– Как же, – спросила Прасковья Михайловна, – чай, и приданого не успели приготовить?

– Есть праздничное тряпье.

– Как же это можно? Все-таки съедутся у вас дворяне на свадьбу... Жена исправника... И в церкви от прихожан будет стыдно. Позвольте мне самой снарядить невесту. У меня есть платья два, три – новехоньки... надевала только по разу... Кое-что из уборчиков еще привезу.

Треххвостов, вместо благодарного ответа, молча поцеловал у Прасковьи Михайловны руку, на которую упала слеза, как она всегда падала – из больных глаз его. И опять влез он в своего медведя, и опять занял им пошевни во всю ширину их, и опять мальчик в новом нагольном тулупчике бойко вскочил на сиденье, рядом с кучером.

Проводив гостя, долго еще сидел Максим Ильич на одном месте в раздумье о семействе Треххвостова и его свадьбе. Чтоб освободиться от гнета этих мыслей, он принялся читать «Жизнеописания великих мужей Плутарха» (чьего перевода, теперь не припомню). С своей стороны, Прасковья Михайловна думала только о той роли, которую будет играть посаженной матерью, и о том, чтобы одеть завтра невесту в лучшие свои наряды. Началась выборка их из сундуков и раскладка по стульям, диванам и кроватям. Часто отрывала она Максима Ильича от чтения расспросами, какого цвета волосы и глаза у невесты, какого роста, худа или дородна. Эти занятия наполнили весь день и захватили половину ночи. Об

еде она забыла; только перехватила кое-что на лету.

Мы было забыли сказать о том, что случилось с Ваней в то время, когда сидел гость у отца его. Он приходил в переднюю посмотреть на мальчика в новом тулупчике. Мальчик был очень хорошенький и с такой заманчивой, грустной улыбкой смотрел на барчонка, что тот поддался этой привлекательной наружности и посягнул было на приглашение играть с ним в снежки на дворе. Но Ларивон, вышедший в это время в переднюю, пресек разом это желание, покачав очень серьезно головой. Ваня догадался, что ему неприлично связываться с дворовым мальчишкой. Услышав, что стучат в гостиной тарелками, попросил он дядьку накормить маленького слугу. «Господа едят, и слуга, чай, хочет тоже кушать», – говорил он. Между тем, пользуясь новым отсутствием своего ментора, стал любоваться черным пушистым волосом медведя, ласкал его своей ручонкой и называл хорошеньким, добрым Мишей. Мальчик в тулупчике сделался смелее, выворотил рукав шубы, накрыл им лицо свое и осторожно, на приличном расстоянии, подходил к Ване, приговаривая: «У! у! медведь – съест». Но, видя, что тот не боится медведя, а только смеется, схватил его с недетской силой в охапку, посадил на скамейку и закутал в огромную шубу так, что из нее было видно только горящее лицо малютки, окаймленное черной, густой шерстью ужасного зверя. В этих новых забавах накрыл их опять Ларивон, но на этот раз отвел своего питомца в другую комнату, велел ему смирно сидеть на сту-



ле и сказал с педагогической важностью: «В этакую шубу за-рылись! Бог знает, где валялась, да и грехом воняет...»

Тут Ларивон, для вящего подкрепления своих наставлений, не преминул плюнуть.

Отчего грехом воняет, – рассказал после дядька. Богатая эта шуба была подарена Трехвостову купцом, чтобы он показал, что у него потонула барка с казенным провиантом, а провиант был заранее продан в соседние прибрежные деревни. Понятые, как водится, получили ведерка два вина, и прочее, и прочее. «Грех великий! – говорит Ларивон, – не скоро отмолить его этому богопротивному человеку».

Свадьба действительно состоялась на другой день. Невеста, по милости Прасковьи Михайловны, была разряжена в пух и блаженствовала. Казалось, она помолодела десятью годами. И как не радоваться ей было? Она делалась свободной, дворянкой; существование ее и семьи было навсегда обеспечено. За свадебным обедом сидело человек двадцать дворян. Сам предводитель Подсохин был приглашен, но не удостоил приехать. Это обстоятельство нагнало легкую тучу на пирующих; задумался и Трехвостов. На другой день, когда подали ему медвежью шубу, он, неизвестно почему, оттолкнул было ее от себя и надел с сердцем. Несколько дней медведь тяготил его могучие плечи, как будто живой зверь сжимал его в своих лапах. Взглянул он на своих детей, погладил одного и другую по голове, поцеловал малютку в люльке, сквозь слезы улыбнулся жене, махнул рукой, – и снова

медведь сделался для него легок, как и прежде. С того времени бывшая Палашка, ныне Палагея Софроновна, никогда не была бита.

По поводу ли медвежьей шубы, под которой скрывалось нечистое дело, не приехал щекотливый в деле чести предводитель, или по другой причине, – неизвестно. Но как мы о нем заговорили, то и остановимся несколько на его замечательной личности.

Это был один из достойно уважаемых дворян того времени, человек беленький, с которых сторон ни посмотреть на него. Редко в ком можно было найти соединение такой чистоты нравов с таким прямотушием, честностью и твердостью. Он всегда думал не только о том, что скажут о нем при его жизни, но и после смерти. Молодость провел он в морской службе, делал несколько кампаний, был офицер ретивый и исполнительный, и так же требовал строгого исполнения своих обязанностей, как и сам исполнял их. Хозяйство, порученное ему на корабле, шло как нельзя успешнее – не для него, но для всей команды. Он не имел привычки извлекать свои выгоды из общественных или казенных сумм и приобрел для себя только имя прекрасного *эконома* – разумеется, в хорошем смысле. Обстоятельства потребовали, чтоб он вышел в отставку. Его призвали к домашнему очагу мать, молодая жена, трое детей и сестра, которых обязан он был содержать от небольших деревушек в Холоденском уезде, а имение это под слабым, может быть бестолковым, жен-

ским управлением начинало расстраиваться. Взяв в твердые и искусные руки руль хозяйства, он в несколько лет успел привести свое и женино имения в цветущее положение и удвоил доходы без отягощения крестьян.

Вскоре дворянство уезда потребовало от него жертвы. Прежний судья не выполнил надежд своих избирателей и, как мы видели, въезжал верхом на лошади по лесам строившегося, вместо того, чтобы твердо сидеть на своих курульских креслах. К тому же, замечено было, высшим ли начальством или дворянством, что он очень *однообразен* в приискании и приложении законов к судебным определениям, между тем слишком *разнообразен* в решениях своих помимо законов. Так, в уголовных делах ни одного определения не обходилось без того, чтобы он не включил следующих речений: «Лучше простить десять виновных, нежели наказать одного невинного. Судья должен помнить, что он человек есть». И эти решения выставлял даже тогда, когда определялись кнут или каторжная работа. В суд поступило однажды дело *о разрезании на смерть* медведем мужика. И тут судья не преминул поставить свой любимый текст: «Лучше простить десять виновных, чем одного невинного наказать»; виновного же в определении своем предоставил суду Божьему. Зато как любил он разыгрываться в решениях своих! Когда подносили ему в одно время два журнала по преступлениям, хотя совершенным двумя разными лицами и в разных местах, но одинаковым по обстоятельствам и степени вины, даже по ле-

там преступников, он определял одного наказывать кнутом, а другого плетью. Если же секретарь замечал ему, что законы в обоих журналах подведены одни и те же, он с неудовольствием отвечал: «Что ты, братец, толкуешь мне о законах? Законы сами по себе; пусть и остаются на своем месте. Забор стоит, что ль, или ров вырыт между ними и постановлением? Или, по-твоему, запряжены они вместе, как парные лошади в дышло? Видишь, тут два человека разные: один из Перекусихиной – там народ все разбойничий, а другой из Белендряевки – когда проезжаешь, так все миром встают, будто единый человек, и все в пояс, будто единое лицо. Один убит в густом лесу, а другой в кустарниках. Понимаешь ли, умная голова? В лесу никто не видит, а в кустах – сам посуди – бывает редочь, там этак вербочка или жиденский олешиник, ну как бы, например сказать, будто сквозь стеклянную бутылку видно, какая там себе ягода плавает. Следственно, понимаешь, душегубство одного совершено в отчаянном азарте, другого – осторожно, с наклоном головы и прочее... понимаешь? Да и там у начальства, ты сам, умная голова, там увидят разнообразие; оно и читать приятнее. Видно, дескать, тонкий судья, даром, что хмельным зашибается! все по косточкам разобрал. Эх! братец, нужна везде политика, т. е. букет поднеси только к носу, узнаешь сейчас по одному духу, какого поля ягода, вишневка или смородиновка. Помни ты, крыса архивная, магазин ты этаким законов, везде нужен букет!» – При этом судья дружески потрепал секретаря.

ря по плечу, а секретарь поклонился и крикнул. Вся канцелярия поняла, что в этом звуке отзывалось больше смысла и значения, нежели в произнесенной речи.

Хотя судья и сам походил с лица на букет разнородных ягод по теням наливок, какие он вкушал, однако ж дворянство и судилище раскланялись с ним навсегда. На новых выборах Подсохин был единодушно избран в судьи. Знаком он был с девятым валом грозной стихии, как с движением пуховика, когда он в бессонницу переминал на нем с боку на бок свою тучную особу. Но его ожидал девятый вал еще более грозной стихии-подъяческой. Здесь собственная его неопытность и гениальная сноровка приказных, перед которой бледнеют величайшие умы и таланты промышленного мира, готовили ему мели и скалы, гибельнее всех, какие только случалось ему встретить на своем веку. «Однако ж, – подумал он, – одарил же меня Господь кой-каким рассудком, правил я успешно хозяйством на корабле, вынес и собственное хозяйство от крушения, к тому ж, грех таить, *писать охотник*, да и отказываться от чести, мне сделанной, *постыдно*» – и решился принять должность, на которую вызвал его голос дворянства целого уезда. Отслужив молебен в своей сельской церкви, он поднялся со всем семейством, большими и малыми, и переехал на житье в Холодную. Перед входом в судейскую он, как простой работник, начинающий свой поденный труд, перекрестился на все четыре стороны. Здесь первым его делом было изучить добросовестно свои

новые обязанности, и, изучив их, он принялся за исполнение с редким усердием и твердостью.

Не очень уважаю я судью, у которого секретарь, известный каждому в уезде и даже в губернии не только по фамилии, но и по имени и отчеству, как-то: Семен Макарыч, Антон Сидорыч (ох уж эти Макарычи!), приобрел себе громкую известность великого дельца, закрывающего своей важной, иногда неприступной, персоной ничтожность президента и его товарищей. Секретарь у Подсохина ничего не значил или значил то, чем ему велено быть законами. Просители без всяких предварительных сношений, посредничества и остановок обращались прямо к судье. Он заранее ничего не обещал, но, вникнув в дело, обняв его хорошо со всех сторон, сообразив с законами, говорил твердо, наотрез одному: «ваше дело право», другому – «не могу для вас ничего». Слова эти были неизменны. Иногда удавалось ему помирить тяжущихся и без поощрения бумажной фабрики.

И прошло его шестилетнее служение в судейской камере, как для трудолюбивого пахаря дни летней *страды*. Отер он честный пот с чела своего и отслужил в той же сельской церкви благодарственный молебен за то, что сподобил его Милосердый Отец исполнить свято долг свой. С той поры мог он ежедневно засыпать с невозмутимой совестью младенца и так же спокойно готов был навсегда закрыть глаза на лоне своего Господа. Никогда не промышлял он ничего для себя из своей должности, никогда не продавал ни за какие выгоды

чужих интересов. Трудился много и трудился особенно, когда предстояло в суде решение дела, в котором замешано было благосостояние беззащитных сирот или женщины, не сведущей в законах. Горячо, до исступления, гнал лихоимство, но закрывал глаза, когда благодарили его бедных подчиненных за усиленные труды по делу, которое было уже решено присутствующими. Уважал он высшие губернские власти, но никогда не унижался перед ними и никогда не был их угодником из надежды на награды или на милостивое *взыскание*: не знаю почему, а может быть, потому, что резко говорил правду в глаза, и губернские власти заискивали в нем. То назовут дружочком, то посадят за стол рядом с женой, то велят слуге, помимо более значительных лиц, подать ему трубку табаку. Но он никогда не обольщался этими приманками и для них не переменял своих правил. Были даже случаи, когда он вел с дружочками борьбу упорную и часто выходил из нее победителем. А если торжествовала иногда неправда сильного, утешался, по крайней мере, мыслью, что исполнил долг свой. Скорее, готов он был претерпеть гонение, чем согласиться на несправедливую потачку богатству и сильным связям.

Да это феномен! – скажут многие. И я то же скажу, да еще переведу это иноземное слово по-русски: чудак! диво-дивное! Иной, пожалуй, в насмешку прибавит: Урод!.. И опять с этим соглашусь. Что ж делать? высказывают во все времена из толпы румяных, пригожих человечков такие уроды. Вот,

например, знавал я в одной губернии подобного возвышенного уroda; знаю и теперь в той же губернии такой же экземпляр. Это молодой человек, лет двадцати шести, кончивший свое образование в московском университете. Дворянство убедило его принять должность судьи. Он принял ее и, принеся в жертву долгу лучшие годы своей жизни, любовь к искусствам, светские удовольствия, которыми состояние его позволяло ему пользоваться в столицах, постригся на служение правде и добру в скучном городе. Честь ему и месту, где он воспитывался! Не сомневаюсь, что и во многих губерниях найдутся подобные прекрасные личности, в душе которых неугасимо горит искра Божия. Поболее таких сынов отечеству, и я уверен, что правда и милость утвердятся в судах по слову помазанника Божия!

Подсохину не дали отдохнуть в деревне. Так, ретивого коня почаще и запрягают. На этот раз, к чести холоденского дворянства, выбрали его в предводители, несмотря на то, что этого места домогались соперники несравненно его богаче, выше чинами и с сильнейшими связями. Эта почетная должность была как бы наградой за его прошедшее трудное служение и польстила его благородному самолюбию. При этом тешила его еще одна затаенная мысль, о которой будем сейчас говорить. Здесь, в круге своих обязанностей, действовал: он, как и прежде, обращая главные свои попечения на опеки. До него они отдавались, как воеводства в древние времена, на прокормление и поправку оборванных судьбой или



собственной виной бедняков. Кончались эти опеки тем, что ошипанные до последнего пера имения продавались с молотка. Наследники вступали в свои права, получая только право входить в тяжбу с опекунами. Подсохин противился подобным назначениям и наблюдал за имениями сирот и других лиц, подпавших опекам, более, нежели за своим собственным.

Но, увы! и у него была ахиллесова пята, и он имел слабости. Кто же из адамовых детей не имеет их? Его слабость никому не вредила, а была только смешна. Подсохин любил — *писать*.

Еще в морской службе посягал он в официальных бумагах на кудреватость и обилие слов. Хотя они не шли вовсе к делу, он думал, однако ж, щегольнуть, блеснуть ими. Иногда и сам, в душе своей признаваясь, что они лишние, долго колебался, выкинуть ли их или оставить; наконец решался выкинуть. Но лишь только исполнит это, как набегало на душу его сожаление, неотступное, грызущее, что этими перлами никто уже не полюбуется, и они останутся зарытыми в его собственной персоне. И вот опять нанизывает их в своих *репортах*. Доставалось же ему за эти перлы от начальства, которое их не понимало или не умело оценить. Капитан говорил ему: «Сделайте одолжение, Владимир Петрович, избавьте меня от вашего красноречия. Оно, может, и хорошо в другом месте, но в служебных бумагах никуда не годно. Скажите мне сущность дела в нескольких словах, хотя в одном, если

можно, да чтоб я знал, в чем дело. Дайте мне ядро, сударь, а мне вашей красивой скорлупы или шелухи не нужно. В другой раз, извините, я выброшу ее за борт». Не унялся было Подсохин, увлекаемый своим демоном; но капитан не любил дважды повторять своих приказаний, даже в виде поучений, и арестовал витию. В сердцах Подсохин мысленно назвал капитана человеком черствым, не одаренным от природы чувством высокого и прекрасного; но, крепко сохраняя субординацию, перестал с того времени писать служебные бумаги пространно и кудревато. Зато по секрету писал, уж по-своему, дубликаты этих бумаг и услаждался чтением их про себя по нескольку раз. Иногда на вопрос своих сослуживцев: не написали ли вы чего новенького, Владимир Петрович? – таинственно посвящал какого-нибудь неопытного юношу в красоты своих созданий. Иногда товарищ, плохо владеющий пером, просил его сочинить письмецо к родителям своим или к далекой красавице, вздыхающей в каком-нибудь русском порте по юном мореходце. Нельзя было сделать ему лучшего подарка.

Порывался было он на красноречие в судейских определениях. Но тут являлся перед ним, как тень Гамлету, грозный голос его капитана и стучали ему в уши роковые поучения. Казалось ему, вот сейчас арестует его капитан, всегда добрый для него, кроме одного случая, и даже раз оказавший ему кровную братскую услугу. И определение писалось Подсохиным, сколько возможно ему было преодолеть нату-

ру, простым, понятным языком, без авторского пошиба. Но как скоро попал он в предводители, искуситель шепнул ему, что именно тут, на этом месте, красноречие необходимо в адресах, воззваниях и тому подобных бумагах. Вздохнул он свободно, будто свалился камень с груди и развязались руки. С того времени принялся по поводу или без повода писать. Цветы красноречия сыпались из его головы, как из рога изобилия, даже по случаю приглашения к обеду или присылки ему индейского петуха хорошей породы. Бог мой! страшно сказать, как он писал!

Владимир Петрович не скрывал своей слабости, или, вернее, таланта, ниспосланного ему свыше, считал грехом зарывать его в землю. «*Люблю писать!*» – говорил он с гордостью, уверенный, что каждое произведение его пера возбудит восторг в его современниках. И находились действительно в то время люди, которые приходили в восторг от его творений, хотя их не понимали, и провозглашали его великим писателем. Списывали их друг для друга и заставляли детей своих выучивать наизусть.

– Каково пишет наш предводитель! – говорил сосед соседу почти со слезами на глазах.

– Откуда это у него берется? – говорил другой, растопырив руки и пожимая плечами в виде фигуры недоумения (заметьте, новая риторическая фигура!). – Из какого родника бьет такой талант? Вот, братец, попробовал и я было. Сядешь чинно, как и следует, за письменный стол, возьмешь

порядком перо в руки, подумаешь, как следует, а что-то не пишется. Поворочаешь пером, как будто прутом железным, даже поковыряешь им в голове, еще раз поковыряешь – не лезет ничего. Инда постучишься в ней с сердцем – что ж ты, голова?.. Настоящий выдолбленный арбуз или тыква; пустотой какой-то и отдается. Плюнешь на бумагу, с тем и отъедешь от нее.

– Видно, дар ему такой от Бога! – говорил третий сосед. – По-моему, братец, я думаю, голова у него устроена, как бы орган какой. Завел, и пошла, пошла писать музыка... симфония, лакосез, концерты... Вот как река бурная льется, или бьет бутылка с пивом, когда ее раскупоришь.

– Сильно пишет! – молвит новый собеседник, вздыхая и возводя глаза к небу. – Инда подчас волос дыбом поднимается. Иной раз махнет так, что кровь в голову ударит, зарядит в глазах и свет Божий помутится.

– Сладко пишет, – прибавил один господин. – Захочет за сердце схватить, так уж не пеняй схватить, а слезы и кулаком не удержишь.

– Уж не бес ли пишет за него, – вмешалась тут старушка, занятая в своих креслах вязаньем чулка и слышавшая весь разговор (она не любила предводителя за то, что, когда был судьей, решил ее неправое дело в пользу противника). – Тьфу, пропасть! прости мне, Господи, с этим... вот и петлю распустила. А вы думаете, скажу, Парфен Михайлович, – прибавила она, относясь к собеседнику, большому волтери-

анцу, который смотрел на нее с иронической улыбкой, как будто поймал ее в преступлении, – нет-таки, не скажу, опять не скажу...

– Какой, матушка, бес, – перебил ее обиженным тоном один из панегиристов Подсохина. – Станут ли Владимир Петрович с этим якшаться; они человек богобоязненный.

И долго еще собеседники рассуждали о том, откуда это у него берется, что он так хорошо и мудро пишет.

Действительно, Подсохин писал так мудро, что и самый борзый ум не добрался бы в десять лет до смысла его бумаг. Никакой гидравлический пресс, никакая молотильная машина, если бы они были изобретены для литературных произведений, не выдавили бы, не вымолотили бы этого смысла. Чего не было в его сочинениях! И кочующие номады, и высоты бездны, и почиющая на крыльях бури тишина, все это переплетенное, свитое в какой-то пестрый, нескончаемый жгут, ударяющий по воздуху! Сожалею очень, что не сохранил самых замечательных его произведений. Для примера даю здесь один слабейший из них отрывок, уцелевший в бумагах Пшеницына. Это воззвание к дворянам уезда о пожертвовании в пользу пострадавших от пожара или наводнения (не могу верно сказать) жителей Петербурга.

«Мал мыслью и способностью найтись в убеждениях красноречия, ибо холоденское благородное общество превышает всякое красноречие имеющих дар на оное. Вспомните, мм. гг., что место сие (Петербург) дало нам начало и науки и воз-

вело нас на степень, ныне при нас имеющуюся, и что дети и младые родственники наши последуют под тот же покров нашего начала, или, так сказать, во вторую природу, и наконец обратимся духом к слову Божию: „Блаженни милостиивии, яко тии помилованы будут“. С истинным почтением» и проч.

Когда Подсохин имел только малейший повод писать или чувствовал в себе позыв на вдохновение, он, как жрец, готовящийся служить своему божеству, уединялся в особую комнату. Тихи, важны, размеренны были его шаги в это время, словно он боялся вытряхнуть из головы великие идеи, в ней нагруженные, как драгоценный, но хрупкий фарфор; лицо его осенялось даже какой-то мрачной таинственностью. При этом случае он сам не отворял двери, чтобы не было какого потрясения в его персоне; капище открывалось перед ним и закрывалось за ним любимым его слугой, который исполнял эту обязанность с особенной важностью и глубокими поклонами. В особенной комнате Подсохин облекался в долгополый, испещренный чернильными пятнами сюртук горохового цвета, прозванный им *писчим*, запирался крепко-накрепко, писал и переписывал до тех пор, пока уже мурашки бежали у него в глазах и он сам не понимал, что пишет. Слуга, лет сорока с лишком, низенький, с лысиной на голове (хотя и не терял названия *мальчика*), облечен был в высокую должность хранителя писчих снарядов и в особенности писчего сюртука. Когда невидимо производилась великая работа в

кабинете, он сидел у дверей его на стуле, не двигаясь и затаив дыхание. Боже сохрани – кашлянуть! Он скорее лопнул бы от натуги, чем решился бы посягнуть на нарушение узаконенной тишины. Если какой-нибудь отчаянный сорванец проходил мимо, хотя и неспешными шагами, слуга махал рукой, чтобы ходил еще осторожнее, еще тише, если б можно – пролетал. Такое высокое понятие имел он о занятиях своего барина, полагая, что в кабинете творится что-то чудесное, вроде литья золота или делания алмазов! В это время и вся многочисленная семья Подсохина ходила на цыпочках, даже и в отдаленных комнатах, боясь малейшим шумом прервать нить красноречия.

И вдруг, в глубокую, бездонную тишину канул какой-то звук. Чуткое, приложенное к двери ухо хранителя писчего сюртука слышало в кабинете движение кресел; затем великий писатель крякнул. Это был знак, что работа кончена. Капище отворялось. Тогда скидался писчий сюртук, принимаемый слугой с подобострастием, доходившим едва ли не до благоговения, и укладывался в комод. Барин облакался в обыкновенный сюртук. И вот он с исписанным листом бумаги в руке, с лицом, сияющим важным спокойствием и самодовольством, вступает в комнату, где ожидает его семья. Она первая должна выслушать произведение, родившееся в этот час, хотя и не может постигать его высокое значение. Что ж делать? Не первый раз нет более достойных слушателей, а новорожденного необходимо заявить свету, как прин-

ца крови, родившегося в хижине, должно показать хоть крестьянам. После процесса чтения дитя передается протоколисту, который принимает его с достойным уважением. Наконец, творение переписывается в несколько рук возможно лучшим почерком и развозится по уезду в сотнях экземпляров, если это циркулярное воззвание к дворянству или тому подобное.

Надо было видеть величавую и самодовольную фигуру охотника писать, когда он вступал в среду своего семейства для предъявления ему великого творения. Старушка-мать слушала, по временам творила про себя молитву и возводила глаза к небу, как будто благодарила Господа, что даровал ей такого умного сынка. Жена, добрая, любящая женщина, жившая в муже, в детях и хозяйстве, не находила нужным вмешиваться в литературные дела своего мужа и даже простодушно утвердилась на том, что она глупенькая, потому что ничего не понимает из его сочинений. Она слушала, а может быть, и не слушала, потому что молчала во время и после чтения. Как понимали произведения отца две дочери, довольно взрослые, и сын лет пятнадцати, это неизвестно. Только и они попривыкли владеть своей физиономией, зная по опыту, что малейшая улыбка или знак рассеяния навлечет на них родительское негодование. А сын помнил, что ему выдрали уши за то, что задремал в один из подобных литературных сеансов. Случалось, что и дети после чтения изъясляли свой восторг... У Владимира Петровича была сест-



ра, девица немолодых лет, которую он называл обыкновенно *esprit-fort*, хотя все знали ее за женщину богобоязненную. Имя это заслужила она своим здравым умом и прямодушием. Выслушивая новое творение брата, решалась она иногда, призвав на помощь все небесные силы, именем их умолять его писать *проще и понятнее*.

Что за улыбка, что за взгляд бывали ответом на смиренные мольбы ее! Слов тут никогда не употреблялось. Но в этом безмолвном ответе было более красноречия, нежели во всех сочинениях Подсохина. В нем заключались и высокое сознание собственного достоинства, и жалость к слабой женщине, не умеющей понимать литературных красот, и великодушное могущество, которое может задавить червяка, но шагает через него. Сам Юпитер не улыбнулся бы другой улыбкой, не взглянул бы другим взглядом, смотря на высоте своего Олимпа на ребяческую суету человеческого муравейника, который копошится под громовыми тучами. На эту улыбку и взгляд можно бы ходить, как на представление великого артиста. Если бы Барнум жил в то время, он откупил бы их.

Как моряк, Подсохин любил рассказывать о корабельных снастях и эволюциях тем, которые этого не понимали. Побывал он некогда в Лондоне, и потому, когда ему случалось играть в бостон, при объявлении пришедшей игры, иначе не произносил ее, как английским выговором: *бостон*. Если ж другие, не бывшие в Лондоне, подражали ему в интонации и в произношении этого слова, то взгляд и улыбка его были

*отчасти* такие, какими он награждал сестру свою за простодушные замечания ее при слушании его сочинений.

Можно сказать, что в Подсохине были два человека: один – хороший отец семейства, домовитый хозяин, исправный офицер, примерный судья; другой – чудака, в арлекинском, писчем сюртуке, воображающий его Цицероновской тогой, всегда на ходулях, самолюбивый до безрассудства. Когда он в обществе рассуждал о чем-нибудь, он говорил просто, ясно и умно, шутил, не оскорбляя никого, умнейшему собеседнику всегда уступал первенство. Как он писал, мы уж видели.

Подсохин любил Максима Ильича. Зная, что тот имел хорошую русскую библиотеку, и потому, полагаясь на вкус обладателя ее, не обошел его чтением своих произведений. Действительно, Максим Ильич, одаренный от природы чувством добра и красоты, изощрив его беседами с Новиковым и чтением книг, мог понимать, что такое сочинение Подсохина. Но, уважая в охотнике писать высокие душевные качества и столь же прекрасную жизнь, служебную и частную, не желал нарушать его самодовольства, так приятного для него и ни для кого не обидного. Он знал по опыту, что Подсохин не станет мстить, если б сделали ему неприятные замечания – добрая душа предводителя была выше мщения, – но желал лучше пожертвовать часом скуки, нежели огорчить его этими замечаниями. И потому, искренно преданный человеку, хвалил творения писателя. Надо сказать еще, что в

отношениях к людям, которых Максим Ильич любил, он был особенно мягок и податлив.

Имел еще друга предводитель, холоденского соляного пристава. Этот был философ, как и прозвали его, и напрямик сказал Подсохину, что по книжной части не далек, а до письменной и подавно не охотник. Такая разница вкусов не мешала им, однако ж, быть задушевными приятелями. Соляной пристав и его дочка стоят, чтобы им посвятить особенную тетрадь.

# Тетрадь III

## Соляной пристав и его дочь

### I

На самом высоком месте берега Холодянки, там, где она уходит в М-у-реку, в нескольких саженях от одинокой, полуразвалившейся башни, стоял деревянный домик. Три окна, глядевшие на клочок улицы, упиравшейся в берег плетеною изгородью, четыре-на другую улицу, которая вела к соборной площади, и вышка в одно окно, называемая ныне мезонином, предупреждали, что и внутри этого смиренного здания не найти большого простора. В самом деле, на нижнем этаже были только три комнатки, да в верхнем одна светелка. Избушка на курьих ножках для кухни, прибавьте навес для дров, – вот все строение, которое увидали бы на дворе. Даже не было собачьей конуры, неминуемой при каждом доме в Холодне. Хозяин не любил звука цепей и сиплого, иногда бестолкового лая и потому держал на воле собачонку, исполнявшую зато свои обязанности получше цепного сторожа. Домик был однако ж внутри и снаружи опрятен. Не видать в нем было, как это случается в жилище бедного чиновника, разбитых стекол, заменяемых бумагой, на кото-

рой прохожие могут читать многозначашие глаголы Фемиды: репорт, вследствие просимости, учинить следующее, об утонутии крестьянина, городничий и кавалер и т. п. Можно даже сказать, что домик глядел весело. Петушась на самом высоком месте города, он будто говорил: «Видите, куда взлетел! Мал, да удал!» К тому ж мысль, что тут живут добрые, беленькие люди, придавала ему и ту привлекательность, которой он сам по себе не имел. Заметьте, сколько бы дурной человек ни украшал своего жилища, оно все-таки пасмурно смотрит. В нем часы под богатой бронзой бьют как-то уныло, фарфоровые пастухи и пастушки невесело смеются, мрамор давит; кажется, из-за шелковых занавесок выглядывают рожки злого гения дома.

Ко двору примыкает садик. У входа в него можно сосчитать число его яблонь, кусты сирени, пионов и желтого шиповника. Беседка из акаций единственное его украшение. Но стоит только подойти к скамейке на берегу реки, и вам трудно оторваться от картины, которая с этого места перед вами разворачивается. Прямо из лугов выбегает широкая река, идет распахнувшись на город и вдруг, остановленная берегом, на котором держится старый Кремль, поворачивает углом под плавучий мост, через нее перекинутый. Как эти воды иногда оживлены! Огромный караван судов гуськом тянется по ним, пустив по ветру разноцветные ленты своих мачт. Берега осыпаны роями лошадей, ползущих на высоты или сбиваемых с высот натянутою как струна бичевой.

Слышны повелительный голос рулевого, посвист коноводов, всплеск бичевы, отрясающей с себя зеленые пряди скошенной ею водяной травы, торопливые крики испуганных куликов. Вдали, на темной глади реки, мелькает белое, едва заметное пятнышко; вот уж словно лебедь широкою грудью разрезывает струи, сцепляется с другим товарищем, опрокинутым в воде, поднимает крылья... Нет, это летит, надувшись, парус – все ближе и ближе; упал, и перед вами является бедный остов рыбачьей лодки; на кривой мачте ее мотается кусок полотна с заплатами. Лодка причалила к берегу; перекинутая с нее доска установила между ними сообщение. Вот взбирается осторожно по этому мостику дородная горожанка в блестящем кокошнике, с кулечком в руках. Рыбак сеточкой вытащил из садка рыбу, будто груду серебра. Избран в жертву огромный пестрый налим. Захваченный мощными руками, он открыл пасть свою и, как змей, вьется в них. Между тем жена рыбака достала из-под кормы спеленатого ребенка и, присев на первую доску, стала кормить его своею грудью, на которую из-под клочка паруса упал солнечный луч. Целая идиллия!.. Живой мост гремит и катит клубы пыли. За лугами, к сосновому лесу прижалась белая ограда монастыря, и среди нее высится разноцветная купа церквей; золотые звездочки крестов искрятся на темном фоне леса. Кое-где по сторонам выползает из-за горки деревушка или цепляется по берегу оврага. Дорого бы дал богатый человек, чтобы перенести в свой парк великолепные руины

башни, которыми владелец домика пользовался даром. Камни этих развалин, упавшие на межу садика, служат его хозяйину скамейками; время покрыло их густым, разноцветным мхом, как барсового кожею. Внизу под башней шумит мельница. Ее-то Ваня видел из дома на Запрудье и воображал жилищем сердитой колдуньи, которая беспрестанно стучит своими костылями и ведет схватку с любимой его Холодянкой. Речка несколькими каскадами бросается на колеса, упадет в омут, закипает белую кипенью и потом бесчисленными нитями убегает в изгиб М-ы-реки, как будто испуганная стая рыбок бросается в одну сторону, сверкая серебром и золотом своей чешуи. Мимо башни влево спускается широкая дорога к низменному берегу Холодянки и провожает ее до самого моста, переброшенного через речку. Здесь идет почтовый губернский тракт, со всеми живыми и мертвыми сценами, происходящими на подобных дорогах, в уездном городке. Через реку, еще левее, видны, как на блюдечке, Запрудье, деревни и те живописные поля, рощи, овраги, которые Ваня любил посещать со своим дядькой. И ночью как хороша картина с межи садика! На М-е-реке тихо, будто она отдыхает после дневной работы под грузом судов. По ней скользят двойники рыбачьих лодок, иные с огненным лучом, отражающимся в воде; на берегах пылают костры, ярко освещающие группы, теснящиеся около них в разных положениях. Месяц заглянул в амбразуру башни и дает живописный свет и тень развалинам. То едва слышен однозвучный, как маят-

ник, плеск волны, бьющейся о берег, то сдержанная мельница лениво шумит, будто в просонье. И вот, где-то в саду или клетке, зажурчал соловей, застонал, замер в неге своей песни и вдруг обдал окрестность огненной трелью, от которой встрепенется ваша душа.

Кто ж был хозяин этого уголка? Подайте нам его имя, отчество, фамилию, должность или звание! – скажете вы. Признаюсь, я всегда запутываюсь в этих названиях. Одна русская школьная память, которая затверживает тридцать страниц, без пропуска единого слова, из вступления во «Всеобщую историю» Шрекка, в состоянии удержать в своем мозговом хранилище имена и отчества целой фаланги лиц, о которых вам в жизни приходилось слышать и с которыми случалось вам говорить или переписываться. Что ж делать? Пусть будет, как принято обычаем, а то, пожалуй, назовут; меня отщепенцем от всего родного.

И потому скажу, что хозяин домика и сада был соляной пристав Александр Иванович Горлицын. Отец его, майор времен Екатерины, при ней начал, при ней и кончил службу вместе со своим земным поприщем. Александр Иванович едва помнил добродушный, приветливый образ матери, которую потерял, имея пять лет, но глубоко врезались в его памяти и сердце предсмертный поцелуй ее ледяных губ и ее последнее благословение. Суров с вида был отец, но и на пасмурном его лице мальчик угадывал иногда грусть нежной, любящей природы; среди редких его ласк замечал на гла-



зах его невольную слезу, которую старый воин тотчас старался скрыть от сына. Отпуская Сашку, как называл его, в кадетский корпус, отец сказал мальчику: «Будь честен, что бы с тобою не случилось, какую бы ты службу не нес. Честь – все равно, что девичья слава: не возвратишь, потеряв ее однажды. Помни, мать смотрит за тобою с того света. Забудешь мое приказание, не будет тебе моего благословения ни в здешней, ни в будущей жизни». Узнав впоследствии, что кадет унес у своего товарища какую-то малоценную вещь, выпросил его к себе на дом и наказал так, что мальчик слег в постель. Когда ему попеняли за слишком жестокое взыскание, он отвечал: «Лучше хочу видеть сына, мертвым, чем негодяем». Старик умер, успев однако ж обнять своего сына офицером. Доброе имя, домик в Холодне, пятьсот рублей и семья людей, состоящая из жены и мужа средних лет с двумя малолетними детьми, мальчиком и девочкой – вот все наследство, которое осталось после отца. Александр Иванович был исправный офицер, делал несколько походов и уже в штабс-капитанском чине, в турецкую войну, получил в ногу рану, от которой стал прихрамывать и вынужден был выйти в отставку.

Оставленным наследством нечем было жить, тем более что он, во время квартирования его роты в Нежине, женился на дочери одного тамошнего грека, за которою приданого было только красота и доброе сердце. Она полюбила в нем привлекательную наружность, открытый характер и лю-

бовь его. Плодом этого брака была одна дочь. Несмотря на различные лишения и недостатки, Горлицын прожил двенадцать лет с женою, как один счастливый день. Кате было десять лет, когда она потеряла мать; но одаренная от природы нежною и привязчивою натурой, несмотря на свой детский возраст, сохранила в душе своей грустные впечатления этой потери, оставившей надолго следы на задумчивом ее лице. Горлицын был убит потерей жены и мыслью, что он, часто затрудняясь в приискании себе насущного пропитания, не может ничего для довольства и воспитания дочери, которая сделалась для него еще дороже после ужасной его утраты. Испытав напрасно разные хождения по лестницам сильных особ, он вспомнил, что один из его корпусных товарищей, с которым был в дружбе до того, что поменялись крестами, имел родственные связи с людьми знатными и сильными и шел быстро в чинах по гвардии. Мысль, что через него приютит дочь в институт под покров самой императрицы и, может быть, добудет себе местечко с порядочным жалованьем, заставила Горлицына обратиться к прежнему своему товарищу. Ответ был в четырех словах: «Приезжай поскорее, мой друг!» Вот направил он с дочерью свой путь в Петербург. Нельзя сказать, что он совершил это путешествие на долгих, потому только, что ехал на одной лошадке, которою управлял слуга, готовый, как и всякий русский человек, на все должности и мастерства. Ныне он тачает сапоги, завтра играет на скрипке или списывает Брюллова картину. Надежды не

обманули Горлицына. Крестовый брат, несмотря на то, что стоял уже высоко, принял его с открытыми объятиями, но не остановился, как чае́те бывает, на одних изъяснениях дружбы, а спешил доказать ее на деле. Дочь вскоре была принята в казенное воспитательное заведение, а отец получил где-то место смотрителя значительной больницы, весьма выгодное по понятиям благодетеля. «Человек в такой нужде, как Горлицын, – думал он, – поневоле воспользуется благовидными доходами, которые обещает это место». Ничуть не бывало. Этот честный чудак пользовался только своим жалованьем и квартирой с отоплением и освещением и думал единственно о том, как лучше успокоить и призреть страждущих, вверенных правительством его заботам. Он почитал страшным преступлением урезать что-нибудь от содержания больных или дать им худую пищу. Но этот странный образ управления больницей сначала изумил некоторые лица, потом возродил в них намерение столкнуть глупца с места, которое было не по нему. У них был отнят кусок хлеба, а этот кусок доходил у некоторых до хорошего золотого прииска. Такого рода люди удивительно ловки, даже гениальны в искусстве подшибать людей, которые не по ним. Горлицын через два-три года потерял свое место – каким образом, было бы грустно рассказывать. И вот решился он, скрепя сердце и ни на кого не жалуясь, прибегнуть опять к своему другу и благодетелю; и опять этот друг, пожурив его за аркадскую простоту (он хотел сказать, глупую честность, но язык не поворотился

на это выражение), выхлопотал ему место соляного пристава в Холодне. Чего ж лучше для Горлицына? Здесь была его родина, здесь он имел и собственный домик. Приехав на место, он принялся за исполнение своих скромных обязанностей, при скромном жалованье, так же усердно и честно, как он делал и прежде. Предместник его, прослужив на этом месте десять лет, свил своим птенцам теплое гнездышке. И немудрено: в Холодне, как я уже сказал, солили большое количество мяса на Англию. На это намекали не раз Горлицыну люди, желавшие ему добра, навязывали ему *благодарность*; но намеки и благодарность скоро перестали его беспокоить, когда увидели, с кем имеют дело. В маленьких городах, в которых, кажется, и сами дома насквозь видны, где узнают, что у вас каждый день готовится в горшке или кастрюле, также скоро узнается и нравственность человека. Спросите, приехав в любой из этих городков, первого лавочника, первого трактирного слугу, каков такой-то, и, если вы не ревизор, против которого заранее подведены все подступы и приготовлены все камуфлеты, лавочник и трактирный слуга верно опишут вам человека с ног до головы. Вскоре граждане прозвали Горлицына честным и, что для них значило одно и то же, простым человеком. Но сыскались и недоброжелатели, хотя Горлицын никого не оскорбил, ни о ком дурно не отзывался, ни в какие дразги и сплетни не входил. Пуще всех закопошился приказный люд. Пошли толкования о том, как это и зачем такой странный человек появился в их го-

роде. Кто говорил, что он с придурью, другие – что по виду не замутит воды, а исподтишка готов всякого укусить, что имеет замыслы не только на свою родную сторону, но и на весь род человеческий: хочет, дескать, перевернуть весь шар земной. Находили его улыбку подозрительной: иезуит, надо быть, или фискал. Были даже люди, которые сомневались, подлинно ли он русский: такие-де чудачки у нас и не рождаются. Должно быть, какой-нибудь самозванец под фамилией Горлицына.

– Русский-то он русский, – порешил стряпчий с бельмом на глазу. – Действительно он родом из Холодни. Мы с Сашкой и в бабки игравали. Такой азартный был: того и гляди, норовит гнездо стащить.

– Что ж он такое? – спрашивали его.

– А вот извольте видеть, вольтерьянец, философ, прости мне Господи! (Тут решитель уездных судеб сделал рукой какие-то таинственные знаки на груди.) Нахватал фармазонской науки, да и пустился в вольнодумство.

На том и кончилось по приговору стряпчего, что Горлицын философ, хотя многие и не понимали этого слова: с того времени и пошел он слыть в городе под этим названием.

По приезде Александра Иваныча в Холодню явился к нему Пшеницын. Так как соляная поставка на всю губернию производилась через Максима Ильича с товарищем, то он, верный установленному порядку, почел долгом принести новому приставу свою *акциденцию*.

– За что даете мне эти деньги? – спросил Горлицын. – Не смею думать, чтобы вы, сударь мой, хотели меня подкупить на бесчестные сделки: вы не таковы – я слышал о вас от предводителя дворянства. За исполнение моих обязанностей? Мне за них государь дает жалованье. Служба – не торговля. По крайнему моему разумению, я понимаю ее так: не знаю, как понимают другие.

– Это так водится, – отвечал, краснея, Пшеницын, смущенный неожиданными суждениями философа.

– Не обижаюсь вашим приношением, если оно было сделано по заведенному порядку. Но, сударь мой, вы меня извините: я не брал до сих пор взяток и не хочу теперь начинать, даже под самыми благовидными предложениями. Может быть, оно и глупо, но что ж делать? Это в моей натуре. Бывают разные странности. Вот я слышал, ваша супруга... Прасковья Михайловна – кажется, так имеют честь ее называть?

– Точно так. Вы хотите сказать, она боится птиц, когда летают по комнате. Кажется, медведя в лесу не более бы испугалась. Что ни делал, ничем нельзя было отучить ее от этой странной боязни.

– Вот видите, кажись, птичка – маленькое, хорошошенькое Божье создание, может стать, и певунья, утешала в клетке вашу супругу... Говорят, бойкая, бест страшная барынька, а изволите видеть, пташка боится. Еще доложу вам, у меня малый – принимал сейчас с вас шубу – поверите ли, не может есть садовых ягод. Думал сначала, блажь на себя

напустил для проказ, да и накорми его смородиной. Что же, сударь ты мой, сделался нездоров, инда я сам испужался. Понимаете меня, Максим Ильич?.. Теперь об этом на веки веков ни словечка, я ни гу-гу, вы тоже... Обнимемся, да будем вешать с вами соль, как стрелка на весах и на совести указывает, ни на мою, ни на вашу сторону, и останемся навсегда друзьями.

Пшеницын горячо обнял соляного пристава, даже с уважением поцеловал его в плечо и вышел от него, как ошеломленный. С того времени согласие между ними не нарушалось.

Действительно, Горлицын был философ, мудрец в своем роде. На одном жалованье, которое получал, не мог он жить в довольстве. Да о довольстве Александр Иваныч и не думал, лишь бы к истечению года концы с концами свести, да ложась спать, благодарить Бога, что услышал молитву его: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь... и не введи нас во искушение». И доходил он до исполнения своих умеренных желаний, сжимаясь, теснясь, отказывая себе во многом, что другим было обыденною потребностью, а для него роскошью. Занимая верхний этаж, как он называл светелку с перегородкой на вышке, он отдавал в наймы за небольшую плату нижний этаж одной барыне – правда, скрепя сердце, потому что она была большая сутяжница, имевшая у себя приют подъячих. Впрочем, эти деньги откладывал для Кати в особенный секретный ящик. Одного из членов семейства,

доставшегося ему по наследству, малого лет двадцати, отдал он в услужение кому-то за очень скромную плату. Девушка из этого семейства находилась в учении у портнихи. Оставались при нем старик и старуха, которых называл он Филемоном и Бавкидой. Женская половина исполняла должность кухарки и прачки, а мужская, как я уже сказал, – все должности. Из любви к своему барину, Филемон сделался портным и сапожником, чтобы не отдавать на сторону шить платье и сапоги, а когда Александр Иванович намекнул ему, что не худо бы к приезду барышни выучиться и дамские башмаки шить, – выучился препорядочно и этому мастерству. Платье Горлицын носил из толстого сукна, да и то, приходя домой, снимал, а на место его облакался в какой-то инвалидный ситцевый халат, давно отслуживший свой законный срок. Правда, была у него пара из Щегольского английского сукна, которую не без труда и уловок подарил ему бывший корпусный товарищ, но ее надевал он только в двенадцатые праздники. Он берег это платье как драгоценность, чтобы показаться в нем во всем блеске перед дочерью. Крепко наказывал он своему слуге почаще перебирать его, чтобы не забралась в него моль, приговаривая: «Ведь институтка, сударь ты мой, Ричард ты мой возлюбленный, петербургская барышня, не то что здешние уездные девицы какие-нибудь, орешки себе грызут. Надо при ней и поприличнее себя показать, не удариться в грязь лицом. Красавица она у меня: разумница, ангелочек!» При этом от восторга, что имел та-



кое сокровище, пощелкивал пальцами, трепал своего старого слугу по щеке, потом охорашивался, смотрясь в зеркало, и подпирал руку в бок. Как будто молодец собирался на любовное свидание! А верный Ричард хотя и улыбался на радостные выходы своего господина, однако ж думал про себя: «Чем-то, голубчик, будешь содержать петербургскую барышню? Чай, неженка, не по нутру ей будут наши щи да каша». – Действительно, Александр Иваныч не был прихотлив на кушанье: ел то, что ели его люди; только позволял себе чай вместо лакомства. Мог бы он обойтись и без своего стола, потому что его беспрестанно приглашали: то предводитель Подсохин, то Пшеницын откушать у них хлеба-соли. Первый жил от него в нескольких саженьях, нередко захаживал за ним и, провозглашая ему, что наступил адмиральский час, почти силой увлекал его к себе. И на этот счет Александр Иваныч был очень деликатен, если не горд; хаживал обедать к тому и другому, но чаще к предводителю, с которым не имел служебных отношений, а иногда решительно отказывался от трапезы того или другого за делами или нездоровьем. «Разве нет у меня своего куска хлеба? – говорил он Филемону. – Не в нахлебники же идти! Хоть щей горшок, да сам большой». Провизию Горлицын ходил сам покупать. Зато с этого простого, совестливого господина лавочки, в уважение этих достоинств, брали, без зазрения совести, лишнего по копейке с фунта. Видали иногда, как он, прихрамывая, плетется поутру с кулечком в руках, из которого выглядывала то нога

баранья, то рыбий хвост или огородная зелень. Если в это время встречалась с ним знакомая дама, он останавливался и, закинув левую рукою кулечек за спину, подходил к ручке прекрасной особы. Пожелает ей доброго здравия, тут же успеет сказать несколько приветствий насчет ее красоты и любезности. Кулечек с мясом или рыбой не очень нравился некоторым прихотливым особам, которые, однако ж, дома не стыдились белыми ручками таскать своих девок за волосы, намаженные коровьим маслом; но потом попривыкли они к кулечку, в уважение того, что Александр Иваныч все-таки превежливый и приятный кавалер.

Покончив свои служебные обязанности, он уходил в свой садик, сажал плодовые деревья, цветущие кусты, сам ухаживал за ними в поте лица, как исправный садовник. «Вот, – говорил он сам с собою, – придет Катя, сорвет румяное яблочко с дерева, скушает его и подумает: ведь папаша приготовил ей эти яблочки. И цветочками полюбуется, да приколет к груди или в черные свои волосы, – как хороша будет голубушка в этом наряде!» Выпросит иногда книжечку у Пшеницына, только с уговором, чтоб не сказывал охотнику писать, да почитает иное хорошенькое сочинение, раз и два, а как придет к нему Подсохин, поспешит спрятать под подушку, будто запрещенный товар. «Очень понравилась мне эта книжечка, – скажет Пшеницыну, – как придет Катя, попрошу у вас опять». Подчас заглянет в секретную шкатулку и сосчитает в ней крупную и мелкую монету. Вот уж накопилось

в Катин банк пятьдесят рублей; авось к приезду ее накопится еще столько же. И радуется он, как дитя, этому богатству дочери. А получать ее письма, перечитывать их по нескольку раз, перебирать нежность и силу каждого словечка, будто разные лады музыкального инструмента, было для него высочайшим наслаждением. Для этого занятия запирался он на ключ, чтобы кто-нибудь не помешал его восторгам. Он целовал эти письма втайне, как нежный любовник, клал их, засыпая, под подушку, авось приснится ему Катя. Радовался он, что милое дитя его здорово, делает успехи в учении и переходит все в высшие классы. «Вот, – думал он, – осталось ей годик побыть в институте; вот уж и несколько месяцев». Ждет и не дожидается времени, когда обрадует его своим приездом. В этих сладких надеждах он забывал, что этот прекрасный цветок может поникнуть головкой под непогодами тяжелых нужд, которые он, привыкший к ним, так безропотно переносит. Всегда довольный, всегда улыбающийся, Горлицын, кажется, и горестей никаких не знал. Разве сядет один-одинехонек под сводом ночного неба на садовую скамейку и раздумается о своей покойнице. Глядит на небо и ищет между звездочками, в которой-то из них живет душа ее. Кажется, ждет он, не взглянет ли оттуда она, не подаст ли голоса или хоть знака. Вспомнит про нежную ее любовь: целая, прекрасная жизнь с нею пройдет перед ним; остановится на некоторых драгоценных часах и даже минутах. Грустно и сладко ему станет, и горячие слезы потекут из глаз его.

После того легче ему бывает возвращаться домой, как будто он в самом деле видел свою бывшую подругу, будто беседовал с ней и с веселым лицом встретит своих домочадцев.

Так прошли три-четыре года его пребывания в Холодне. Здесь никто из его недоброжелателей не смел посягнуть на его место, потому что сам губернатор, наслышавшись об его бескорыстной службе, приказал своему чиновнику, ехавшему в Холодню, поклониться соляному приставу. Воздаяние чести только одному честному сильно действует на нравственность должностного общества. И потому этот необыкновенный знак внимания такой высокой особы к такому мелкому чиновнику заставил прикусить языки, изощренные против Горлицына, и забил тревогу в нечистых душах. Многие из прежних его противников стали заискивать его доброго расположения.

Был день летний. Александр Иваныч работал в своем саду, когда Филемон принес ему письмо с почты. Слуга к этому прибавил: «От Катерины Александровны». Он не знал грамоты, но так уж привык к почерку своей барышни, что мог его сейчас угадать. «От Кати!» – сказал радостно Горлицын, бросив свою лейку, облив себя порядком водой, и, как делал обыкновенно в важных случаях, перекрестился. Дрожащими руками разворачивает он письмо, сердце его необыкновенно бьется; читая, он несколько раз переводит дух. Катя пишет, что здорова, что кончила курс своего воспитания. Государыня при выпуске сделала ей денежный подарок, и, что

для нее дороже всего, наградила ее такими приветливыми словами, которые на всю жизнь залягут в ее сердце. Выпущенная из золотой клетки, птичка прилетит через три недели на родное холодненское гнездышко и припадет к груди отца. Она будет ехать до Москвы с подругой и матерью ее, а в Москву надо уж будет послать *своих* лошадей и прислугу, именно в такой-то день... Александр Иваныч, вне себя от радости, велит позвать Матрену Бавкиду, читает своим домочадцам письмо во всеуслышание, толкуя им силу каждого выражения. Немного запнулся было на словах: «*своих* лошадей»; легкая тень набежала на его лицо и сейчас исчезла. Он махнул рукой, промолвил: «Не беда, найдем славную тройку!» При этом случае Филемон спросил барина: «Где ж, по приезде, изволит проживать Катерина Александровна: не в одной же комнате с ним». «Отказ Четеккиной, сейчас отказ», – закричал Горлицын так, что едва ли не слышала эти слова барыня, нанимавшая у него покои. Слуга покачал головой и скорчил жалкую мину в знак того, что этот подвиг не скоро можно будет совершить. И в самом деле нелегко было выкурить со двора барыню-сутяжницу.

Перезрелая дева, майорская дочь Четеккина, была сама по себе на подъем тяжела. Тучная, обремененная несколькими уродливыми выступами, она не иначе вставала со своего сиденья, как с помощью двух дюжих девок. Ноги ее отекали, и потому, чтобы не стеснять их, носила башмаки с приплюснутыми задками. Когда же майорская дочка покоилась

на своем сиделище, при ней находилась неотлучно на полу живая машинка, лет десяти девочка, непрерывным трени- ем возбуждавшая в них обращение крови. Если же машин- ка от усталости останавливалась, госпожа, со своей стороны, возбуждала в ней движение добрым пинком ноги, а иногда пугала ее, что татарам продаст. Калмыцкий облик, совиный взгляд, черные с проседью усы, которые щетинились, потому что нередко подвергались острию ножниц, голос резкий, уда- рявший в уши, как свист паровика, возбуждали в созерцате- ле этих красот не очень приятное чувство. Приемная ком- ната ее походила на канцелярию: в ней вечное сонмище по- дьячих, вечное совещание об исках, пропажах, проторях и убытках, беспрестанный шелест от переворачивания листов и неумолкаемый скрип перьев. То оттягивала она несколь- ко сот душ за крестьянина, который от предков ее, во вре- мена Петра I, бежал к одному помещику; то требовала пол- уезда, на основании малейшего сходства названий пустошей или угодий, которыми владела ее прапрабабушка; то заложит в двое рук землю свою и старается отделаться от кредиторов, будто за несоблюдение законных форм. Во всех актах, кото- рые; она совершала, оставляла всегда лазейку для процесса. Придет к ней родственник или знакомый, для того только, чтобы, при будущей встрече с ней, отделаться наперед от ка- кого-нибудь дерзкого приветствия, и начнет она душить по- сетителя своими делами.

Вообрази, батюшка, – говорит, – какой клад послал мне

Господь на днях. Еду я из своей пригородной деревни. Вот, видишь, переезжаю речку Перекусиху, что за деревней Бабий Нос. А тут, видишь, в горку ужасенные сыпучие пески. Вечно умаешь на них лошадок... как приедешь домой, уж все велишь лишний гарничок. засыпать, а овес, знаешь сам, в прошлое лето не уродился у меня. Скажешь, Божья воля, батюшка. Что за Божья воля? Мошенник староста Сидорка поморил господских коровенок, земли истощали. Уж и прочила же его порядком – с новотела корову под красную шапку; тьфу ты пропасть! корову... сынка его под красную шапку, а корову-таки привели за рога на господский двор. Вору вперед наука!.. Скотина славная – немудрено, господским добром разбойник откормил – по ведру молока дает... За то велю каждый раз при мошеннике Сидорке доить ее...

– Что ж, матушка, клад-то ваш? – перебил ее посетитель, боясь, чтобы она в увлечении своего рассказа не довела его до колыбельных пеленок своих.

– Так вот, батюшка, едем по пустоше Семенихине. А тут, знаешь сам, наколесил нечистый дорожек промеж кочек, словно гнездо змеиное расплзлось, куда попало. Проклятое место! В недобрый час лесовик закружит тут прохожего или проезжего, так что столбняк нападет... Вот едем мы. Стала меня дрема томить – от жару, что ли, аль блинками нагрузилась. Хочу, хочу перемочь себя, а глаза так и липнут, будто медом кто их намазал. Осунулась, да и окунись в мертвый сон. И вижу во сне, вот словно тебя, батюшка, – стоит

передо мною старец, седенький, худенький, немудренный такой, шапка облизанная, да и говорит мне: «Сестра Олимпиада, слышь, сестра Олимпиада, восстань с одра. Много лет ищешь ты урочища „стыдно сказать“, что отнял у твоего прадедушки незаконными путями сенатский курьер Лизоблюдкин, много денег потратили межевым, а все попусту. Жаль мне тебя стало, бедную, сизую голубицу; хлопчешь, многострадалица, за грехи отцов твоих, и в девичестве из того пребываешь. Вот и привел я тебя к урочищу „стыдно сказать“, клад у тебя под ногами, а ты спишь, неразумная?» Испужалась я и обрадовалась; хочу, хочу встать, не могу, словно меня веревками связали по рукам и ногам. Рассердился старик, да и толкни меня посошком в зубы. Встрепенулась я. Смотрю, овод так и снует перед глазами, а губу всю раздуло в грецкий орех. Кучер-мошенник спит, подлец-холоп спит, вот этот постреленок спит (тут указала Четечкина на живую машинку, у ног своих), лошади стоят у какой-то ямы, понуря голову, и спят. Места незнакомые, на веку моем видом невиданные! Грех таить, пощипала я-таки порядком девчонку, зачем спала, да пуще всего, зачем не доложила барыне, что кучер спит, а кучера своей владычной рукой потузила по загорбине. Сама люблю, батюшка, управляться – дело хозяйское! Уходила на нем сердце, протерла себе глаза, знать от сна заплыли, и вижу у ямы прижался к межевому столбу мужичок – седенький, худенький, шапка общипанная. А за столбом целая Палестина с рожью – частая, густая, словно



кудель, колос-то, а колос-то, поверишь ли, батюшка? С добрую четверть, инда матушке бедной тяжело головкой покачивать. Меня дрожь так и проняла, говорю мужичку: «Скажи-ка, добрый человек, куда это мы заехали?» А он и брякни мне с сердцем: «Урочище „стыдно сказать“. Я так и обомлела. „Правду ли говоришь, добрый человек? – спросила я его. – А то, может статься, и нагрубить хотел нехорошею речью“. – „Баю тебе, так и зовут“, – сказал он, махнул рукой и поплелся по меже. Вот, батюшка, десять лет искала, искала, сколько в межевых книгах порылись, а тут благодать какая, за мою добрую душу и сиротство... (Чечеткина хотела было ткнуть ногой живую машинку, да воздержалась.) Старичок пожаловал мне справочку, уж подлинно сон в руку... Землица-то, батюшка, десятков тысяч стоит, да и деревеньку, что на ней поселена, оттягаем. Зато и не дремлю, не таковская голова! Уж и межевщика наняла, и поколенную роспись написали. Приятель мой, что был секретарь уездного суда, знаешь, Сопелкин, клянется и божится, что не миновать моих рук...

И начала Чечеткина описывать посетителю права свои на пустошь „стыдно сказать“, и как сутяга, сенатский курьер, оттягал ее несправедливыми путями у дедушки ее. Посетитель осовел, начали чертики плясать перед его глазами, а в ушах будто били в набат. Отуманенный, оглушенный, он извинялся недосугом по служебным делам (хоть на службе нигде не состоял), и утек от майорской дочери, дав себе клятву

впредь к ней не заглядывать. Чечеткина, получив в наследство от отца и брата в разных губерниях прекрасные имения, из трех сот душ состоявшая, в том числе холодненскую, довела эти имения до совершенного расстройства беспорядочным управлением и разорила себя в конец сутяжничеством. Лес рубила на продажу, как попало, хлеб продавала на корню. В одной оброчной деревне крестьяне были так истощены и вследствие того так изленились, так нравственно испортились, что продали большую часть своего скота и оставляли истощенные поля свои незасеянными. С июня отправлялись они целым обозом, будто цыганский табор, в одну из степных губерний для сбора на годовое прокормление свое. Из таких периодических путешествий они сделали даже род промышленности. Надевали опаленные кафтаны, намазывали себе лицо сажей, и с женами и малолетними оборванными детьми бродили врассыпную по деревням, возбуждая жалость хлебных степных мужичков историю своих пожаров. Обильные подаяния сыпались в их телеги. В одной из деревень или в лесах имели они свой притон, где делили, без обиды один другому, плоды своего промысла. А на возвратном пути собирали в городах и денежное подаяние. В таких случаях останавливались днем за городом и проезжали его ночью. Прибыв же в свои дома с возами, нагруженными всяким хлебом, и с туго набитыми кошельми, пропитывались до будущего подобного путешествия, а из денежного подаяния оплачивали кое-как оброк и пропивали остальное в ка-

баках. Майорская дочь знала все это очень хорошо, но смотрела сквозь пальцы на бродяжничество своих крестьян. В подгородной деревне состояние мужичков, довольно работающих, держалось еще, как подгнившее дерево, которое скрипит от малейшего ветра, но еще дает зелень и плоды. Однако ж, и там собственное хозяйство Четкиной было запущено. Скота приходилось у нее на три десятины по одной штуке, да и тот был заморенный. В полях она никогда сама не бывала. Луга ее травили чужие крестьяне, между тем любила, чтобы ее скот пользовался кормом на соседних паствах, а иногда и в чужом хлебе. Дом был у нее каменный, двухэтажный, но обгорелый. Слышно было, что его подожгли в ее отсутствие пьяные дворовые люди. Сама она проживала в бане. Зато уцелело от огня деревянное здание, сколоченное из досок, в виде башни, в котором собирала Четкина помадные банки, пузырьки, бутылки, обломки железа, половинки изразцов, заржавленные гвозди и всякую подобную рухлядь. Тяжелый замок оберегал это сокровище от хищения, да при здании этом, денно и ночью, неотлучно находился переменный сторож. Жестокая кара пала бы на этого сторожа, если б он в урочное время не постучал в чугунную доску, висевшую у башни. Обо всем, что делалось в ее отсутствие, знала Четкина от своих шпионов в юбке, которые, с приездом ее в имение, тотчас рапортовали ей со всею подробностью; разумеется, ей докладывали об одних мелочах, а важные хищения и злоупотребления начальствующих лиц, бывших в ку-

мовстве, сватовстве с этими женскими соглядатаями, закрывались очень осторожно. Птичница украла несколько яиц и прибила почти до смерти любимого барышнина индюка; дворовая девка выдрала за волосы так называемого крестника майорши, а может быть, и более близкого ее родственника; пьяный мужик выбранил барыню мотовкою и колотыркой, – таковы были, большею частию, доносы преданных ей лиц. Особенно любила Чечеткина слушать скандальные истории соседей и даже дворовых людей и крестьян. Наконец, Чечеткина дошла до того, что все мнение ее было заложено и перезаложено. От кредиторов бегала она из одной деревни в другую или в Холодную. Когда она жила в деревне, ее писали в такой-то губернии; когда пребывала в такой-то губернии, объявляли, что обретается в Холодне. Даже раз отозвались, что уехала в Томск. Все состояние ее висело на ниточке, которую порвать мог первый аукцион. Между тем Чечеткина отыскивала земель с пол-уезда и деньгами сотни тысячу.

Вот эту-то особу нужно было Горлицыну выжить из своего дома. Нелегка была задача.

– Беспокоит меня, дочь заслуженного майора, для какой-нибудь девчонки, дочери соляного пристава! – кричала она в окно, когда мимо ее по двору проходил, хозяин дома: – это ни на что не похоже; это одна бестыжая харя может сделать! Да я не позволю над собой насмехаться. Я поеду к самому губернатору. Он троюродный брат моей двоюродной тетки. Какой ни есть хромой Иваныч должен бы, из уважения

ко мне, загодя, хоть за несколько месяцев, объявить. Нет, ба-  
тюшка, со мной шутить нельзя, не таковская досталась тебе.  
Заплатишь мне за протори и убытки.

Горлицын не расслышал и половины этой филиппики, по-  
тому что в самом приступе заткнул себе уши. Так и после  
делал, проходя мимо окон Четкиной.

Созвала майорская дочка на совещание синклит подьячих  
и начала было диктовать прошение в городническое прав-  
ление с жалобой на Александра Иваныча. Но только что  
приказный дописывал: „А о чем мое прошение, тому следу-  
ют пункты“, как явился к самой Четкиной сам предводи-  
тель дворянства. Он убеждал ее оставить хоть этот процесс,  
грозя, в противном случае, присоединить некоторые новые  
нечистые дела ее, дошедшие до его слуха, к тем, которые бы-  
ли уже в ходу. Надо было видеть, как засверкали ее совиные  
глаза, как зашевелились ее усы и разразился крик ее паро-  
вика. Подсохин не вынес и бежал из дому. Но вслед за ним  
девица Четкина, зная свои грешки, одумалась и, убежден-  
ная одним из задушевных вождей ее процессов, переехала на  
другой же день на новую квартиру, поближе к присутствен-  
ным местам. Только оставила Горлицыну письмо. В нем вы-  
вела по пунктам, что, вследствие варварских и неслыханных  
гонений ее со двора, лишения ее несколько дней пищи и  
несколько ночей сна, не взирая ни на пол, ни на девическое,  
сиротское состояние и высокое звание ее, и вследствие неми-  
нуемых через то расходов на переезд, в том числе и за гер-

бовую бумагу на прошение, которое собиралась писать, она, нижеименованная Чечеткина, отказывается платить хозяину деньги за двадцать два дня, пять часов и тридцать две минуты.

Александр Иванович вздохнул свободно, когда потерял ее из виду со всем скарбом ее и челядинцами. Однако ж озадачило его одно обстоятельство. В ящике стола и на полу найдены были какие-то бумаги, иные с гербовым штемпелем. Опасаясь, чтобы Чечеткина не затеяла процесса о похищении этих бумаг во время переезда, он позвал к себе полицейского чиновника и просил его, освидетельствовав их и опечатав, передать майорской дочери.

– Уф! точно гора с плеч свалилась, – сказал Горлицын, отирая пот с лица, и приказал комнаты хорошенько вымыть, прибрать и выкурить можжевельником, чтобы духу майорского не пахло. После того потребовал свою дворовую девушку из учения и принялся нанимать ямщиков для посылки за Катей. Уговор был, чтобы лошади были смирные и добрые, чтобы кибитка была покойна, с просторным волчком и двойным рогожным навесом. Тройка была нанята исправная с желанным экипажем и дешево. Мудрено ли? Максим Ильич заплатил ямщику более половины денег, за которые был этот подряжен, но умел так искусно скрыть свою услугу, что Горлицын и не подозревал обмана. Горничная засела в кибитке на почетном месте, в праздничном своем наряде, как пава на гнезде, боясь пошевелиться, Филемон, забрав-

шись на облучек, гордо глядел с высот ты на всю холоденскую мелочь, как будто ехал за принцессой крови. Сколько наказов было, чтобы берегли барышню, как зеницу ока, с гор потише спускались, по ночам не ездили, на надежных дворах останавливались! Наконец, кибитка тронулась со двора. Долго провожал ее глазами Александр Иваныч, крестя вслед ей. Затем он, вместе с молодым слугой, которого также вытребовал ради торжественного случая, принялся холить садик, проводить по нему новые дорожки, усыпать их песком, обрезать и подвязывать кусты и давать всему, сколько возможно, лучший вид. То зайдет с одной стороны, то с другой, как бы все это сделать приятнее для глаз. Портрет жены его, исполненный художнической кистью и очень схожий, был поставлен в комнату, назначенную для Катинной спальни. Этот портрет писал живописец грек, не из денег, а из любви к искусству. В проезд свой через Нежин, увидав жену Горлицына вскоре после их свадьбы, он был поражен ее типической южною красотой до того, что пожелал сохранить ее черты на полотне и написал два портрета, один, для мужа, а другой для себя. К встрече Катв придумано даже было, вместе с Максимом Ильичем, чтобы Ваня сказал приезжей стихи, которые недавно читал так хорошо графине и которые общим совещанием найдены приличными для произнесения на этот торжественный случай. Подсохин, узнав об этом, порывался было написать своего рода приветствие, но отделались от этого сочинения по той причине, что мальчик

не любит учить на память прозу.

С трепетом сердечным стал Горлицын дожидаться прибытия молодой хозяйки, как он называл свою Катю» То выбежал по нескольку раз в день на высокий берег Холодянки и смотрел, не видать ли на мосту кибитки, с известной тройкой и людьми. То доходил до самого моста и караулил тут проезжих. Везде являлся он щеголем, в нарядной паре из английского сукна, да и малому своему строго наказывал, чтобы одевался как можно опрятнее и поменьше сопел, этого барышня не любит. Даже по ночам вставал с постели и, отворив окно, прислушивался, не усиливается ли звук колокольчика, временами едва отзывавшийся вдали.

Между тем вот что происходило с Катей, ожидаемой так нетерпеливо в Холодне. Во-первых, надо сказать, что отец ее не преувеличил нимало, назвав ее красавицей. Перед ней становились подруги на колени с знаками обожания. Посетители института, не смея вслух восторгаться ее наружностью, нередко останавливались перед ней, как будто изумленные собранием стольких наружных совершенств в одном лице. Даже сами женщины, увидав ее, невольно говорили: «Как она хороша!» «А что моя красавица?» – спрашивала о ней нередко государыня.

Тонкие правильные черты, возвышенный лоб, густые, черные волосы, очертание губ, едва оттененных нежным пухом, стан, рост, формы, – все в ней было изящно, роскошно. Разве прибавим, что в черных глазах ее, осененных длин-



ными ресницами, под черными дугами бровей, почти сходившихся вместе и придававших ей несколько гневный вид, не было игривого блеска, не было неги. В них – как бы сказать сравнительно? – отражался зной летнего дня с его грозowymi тучами. Взгляд их, глубокий, вдумчивый, чарующий, налегал на вас тяжело, томительно, мог возбуждать только страсть в страстной душе, а не привлекать к себе легкие натуры. Смуглый отлив ее кожи, с весьма слабым румянцем на щеках, напоминал в ней кровную расу южной страны. Смотри на портрет ее матери, гречанки, которую художник с такою любовью передал полотну, можно бы подумать, что он списал его с дочери. И в характере Кати было что-то южное. Со всеми подругами своими она была хороша; но, избрав раз одну из них в друзья себе, предавалась ей совершенно и ни с кем уж более не делила своих задушевных мыслей и чувств, какие могут быть только у институтки. Для нее готова она была на всякие жертвы. Сколько раз Катя принимала на себя вину своего друга! Учению предавалась она горячо. Вне классов, когда она не занималась уроками, видали ее занятою горячею беседой с ее другом, или одну, погруженную в глубокую, не полетам, задумчивость. Если ж и разыгрывалась Катя, что случалось очень редко, то это была мгновенная, бурная вспышка, которая в несколько минут пробегала электрическим током по всей веренице ее подруг и расстраивала чинный порядок заведения. Она была так добра, что готова была отдать лучшую свою вещь той, которой эта ве-

щица понравилась. Зато глубоко принимала обиду и не скоро прощала ее. Когда она вышла из института, ей было семнадцать лет.

В самый Петров день Катя приехала в Москву. Она застала уж там посланных отцом ее. Катя очень им обрадовалась, поцеловала старого слугу и свою новую горничную, расспрашивала их долго об отце, об их житье-бытье, о Холодне. Посланные со всею дипломатическою тонкостью старались представить все холоденское в благоприятном виде. Несмотря на убеждения своей подруги и матери ее, Катя, простившись с ними не без слез и обещав другу своему переписываться с нею до гроба, отправилась в путь с первым просветом зари.

Дорогой все ее восхищало: и живописные места, увенчанные Мячковским курганом, и крики девочек, просивших булавоочки, и длинные ряды косцов в красных рубашках, рассыпанных по широким, привольным москворецким лугам, и пестрые вереницы крестьянок, раскидывавших для просушки скошенную за два дня траву. Она рукою навевала на себя воздух, напитанный ароматическим запахом трав, и с наслаждением дышала им.

Накануне лил целые сутки дождик, и ямщик, боясь вязкого пути в крутую гору у Мячковского кургана и за: нею по глинистой дороге, по которой надо было плестись шагом до самых Б-ц, решил ехать окольной дорогой. Здесь (немного пониже того места, где ныне устроен плавучий судовой

мост на шоссе) был переезд вброд через Москву-реку. Ямщик ручался головой, что перевезет барышню без опаски. «Сто раз переезжал», – говорил он. К тому ж люди Горлицына только за два дня ехали тут же без приключений. Поколебался однако ж старый слуга, снял в раздумье раз и другой фуражку и опять надел, не преминув почесать голову. Но в то же время зазвенел чужой колокольчик. Какой-то барин, в щегольской бричке, на тройке прекрасных лошадей, догнал кибитку и смело поворотил с большой дороги на луговую. Тут слуге Горлицына нечего было раздумывать. Он приказал ямщику следовать за бричкой и не отставать от нее. Подъехали оба экипажа к берегу реки. Широко расстилались по нему песчаные, голые отмели, на которых волны оставили свои следы грядами; слышен был грустный, однообразный плеск речного прибоя; по реке не ходили валы, но как-то порывисто, страшно бежали густые, как массы растопленного стекла, воды, мутные от вчерашнего дождя, и, казалось, готовы были захлебнуть все, что преграждало им ход. Вид этот немного смутил молодую девушку. Передовой экипаж, на котором откинут был верх, чтобы он не парусил, спустился в реку. Надо было искусно пробираться извилинами по гребню, образовавшемуся на дне реки, чтобы не попасть в глубокие омуты, находившиеся близ самого гребня. Правивший лошадьми должен был, как опытный кормчий, знать здесь все удобные и опасные места. Через несколько сажень господский кучер стал забирать влево, но ямщик

не последовал за ним и взял крутым поворотом вправо, сказав только: «Щеголь! неладно едет; не потонуть бы им». – «Так закричи же им», – сказала испуганная Катя. Только что успела она это выговорить, а ямщик закричал: «Бери вправо, олух, дурак ты этакой, осел вислоухий, утопишь ни за что барина!» – как вся господская тройка разом погрузилась в воду, так что стали видны только головы лошадей. Бричку начало покачивать и вскоре заливать. Господин и слуга, сидевший подле него, поджали под себя ноги; ноги у кучера и сидевшего с ним рядом другого слуги болтались в воде. Казалось, эти люди плыли на каких-то обломках экипажа. Лошади боролись с сильным потоком, увлекавшим их вниз по течению реки, наострили уши и храпели, подняв свои морды. Видно было, что они потеряли под собою землю и начали плыть. Кучер, доселе молодцоватый и самонадеянный, растерялся: то ухватится одною рукой за железный ободок козел, чтобы не свалиться с них, то дернет без толку лошадей. Голос его замер. Колокольчики уныло переговаривали по водам. «Господи, спаси их! Милосердный Боже, спаси!» – закричала вне себя Катя, высунувшись из кибитки и подняв руки. Барин, сидевший до того в каком-то угрюмом спокойствии, слышал эти слова. Он взглянул на ту, которая их произнесла, привстал разом с своего места, несмотря на то, что должен был погрузить ноги в воду, наполнявшую уже экипаж, вырвал у кучера вожжи и с окликом, огласившим оба берега, круто и сильно повернул лошадей в правую сто-

рону. Животные, возбужденные этим повелительным голо- сом, казалось, получили новые силы, рванулись, куда были направлены, и грудью пошли против напора стремнины, ва- лившей на них. Борьба была отчаянная, на жизнь и смерть! Вскоре однако ж лошади ухватились передними ногами за гребень, по которому ехала кибитка. Сначала вынырнула из воды холка их, потом показалась и спина; наконец, припод- нялся и экипаж. Тут уж не было более опасности. Лицо Ка- ти просияло. Она перекрестилась. В это время бричка на- чинала сближаться с кибиткой. Господин, не сделав никако- го замечания кучеру, спокойно передал ему вожжи. Сядься на свое место, он скинул картуз и глубоко поклонился Кате. Он слышал, как молилась спутница его, посланная в эти ро- ковые минуты самим Провидением для его спасения, успел только мельком увидеть ее лицо, испуганное, но прекрасное, черные и выразительные глаза, обращенные к небу; потом, когда он выбрался из опасности, видел, какое радостное бы- ло ее лицо, как она крестилась, – и глубоко сохранил в душе своей эти мимолетные видения. Не могла также не оставить сильного впечатления в душе Кати ужасная картина, кото- рой она была зрительницей. Навсегда врезались в ее памя- ти и сердце бегущие мутные воды, готовые разом поглотить четырех человек, и вставший из среды их статный мужчина, который, как бы могучий кормчий, схватил руль погибавше- го в волнах судна и разом вынес его из опасности. Как хо- рош, величав был незнакомец, с распущенными по ветру во-

лосами, среди грозной стихии, над которою, казалось, господствовал! Этот вид должен был сильно поразить девушку, воспитанную в стенах института-монастыря, где все так тихо и правильно, где все дни так похожи один на другой. Подобное зрелище могла она видеть разве на гравюре, изображающей Петра Великого на ладье, с изломанною мачтою, во время морской бури. Оба экипажа благополучно переехали на другой берег, но с этого времени щегольская бричка следовала уж за смиренною кибиткой.

Приехали в Б – цы. Тогда там не было гостиницы. Лучший постоялый двор находился на главной улице. В него въехали, одна за другою, кибитка и бричка. Из кибитки выползла сначала горничная, за нею только что успела Катя ступить на подножку, ее принял не один старый слуга, а еще незнакомое лицо. Это был спутник ее, в котором она принимала такое живое участие. Лицо его было выразительно и привлекательно. Ему могло быть лет тридцать с небольшим, но серебряные нити изредка пробирались уже в густых каштановых волосах. Катя могла это заметить, потому что незнакомец скинул свой картуз. Катя без жеманства подала ему руку свою и, сходя с подножки, вынуждена была опереться на его руку.

– Благодарю вас, – сказал он с чувством: – вам обязан я спасением своей жизни, и этого никогда не забуду.

– Помилуйте, что ж я могла сделать? – отвечала Катя краснея, – это мой ямщик... А как я перепугалась за вас!

– С тех пор могу дорожить жизнью, – сказал незнакомец, но, увидев, что спутница его еще более краснела от его слов, промолвил: – позвольте вас спросить, кому обязан я так много?

Катя сказала свою фамилию, прибавила, что едет из института в Холодню к отцу своему, тамошнему солянному приставу, поклонилась приветливо незнакомцу и быстро поднялась на лестницу. Несколько минут простоял он на одном месте, изумленный красотой своей спутницы, простотой ее манер и речи, и смотрел ей долго вслед, хотя она уже исчезла.

Он остановился в комнате рядом с той, которую заняла Катя, и имевшей особенный вход. Чувствуя озноб от сырости, так долго державшейся в его обуви, он желал бы выпить чего-нибудь горячего; но не велел людям своим требовать самовар, единственный на постоялом дворе, пока не напьется соседка. Как же удивился он, когда старый слуга ее принес к нему самовар. «Барышня велела отнести к вам, – сказал Филемон, – вам нужнее; небось порядком намокли. Извольте-ка поскорее горяченького испить: это больно полезно» Разумеется, сосед, тронутый таким вниманием хорошенькой соседки, рассыпался в благодарностях. Она слышала их за перегородкой.

Филемон был любопытен. Он скоро узнал от людей; этого господина, что его зовут Иван Сергеевич Волгин; что он очень богат, имеет поместья в разных губерниях и едет в Холодню хлопотать о вводе во владение прекрасным имением,

которое недавно досталось ему в Холоденском уезде. Ему было только тридцать четыре года, да рано седина в голове засела, и немудрено – много горя в жизни видел: женился очень рано, а с женой радостей не знал. Была больно зла, оттого вскоре после брака и с ума рехнулась, с тем года два тому назад и в землю пошла. Детей у них не было. Барин же душа предобрая; житье у них такое, что и на волю не захочешь. Только часто одолевает его тоска, иногда подчас жалко на него смотреть.

«Славный женишок был бы для барышни, даром что седина в волосах пробивает», – подумал Филемон, ноне сказал вследствие дипломатической осторожности: Это рассуждение про себя закончил верный ричард глубоким вздохом, который можно бы перевести следующим образом: да где ж нашей бедной холоденской пташке залетать в такие высокие хоромы!

Камердинер Волгина спросил Филемона, не знает ли он хорошенькой квартиры для его барина.

– Цену дадим хорошую – промолвил он.

– Как не знать! Словно нарочно к этой оказии напротив дома Горлицына отдавались четыре комнаты в доме бессмейного купца, который хоть и в нужде, а ищет смирного, хорошего постояльца. Не хотел отдать барыне Чететкиной оттого, что большая сутяжница и девок больно бьет. Снимет с себя башмачище, в пору доброму мужику, да и начнет шлепать по щекам; а каков час, и скалкой отвалает. Чего ж луч-



ше этой квартиры для Волгина!

На обоюдных любезностях слуги соседа и соседки выпили несколько пар чайку, с пожеланиями оставаться соседями и в Холодне.

Через несколько часов лошади наших путешественников были выкормлены и отдохнули. Кибитку подали к крыльцу, но бричка стояла на дворе незапряженная. Катя, прежде чем сесть в свой бедный экипаж, осмотрелась, как будто искала и надеялась встретить своего временного соседа. Ее начал сильно занимать незнакомец. Уж и она стала думать, не само ли Провидение назначило им первое роковое свидание на переправе. Не проезжай она вовремя с надежным ямщиком вброд, немудрено, что незнакомец мог бы утонуть. То представлялся он ей сидящим спокойно, во время опасности, то видела, как он, будто по слову ее, разом вышел из своей апатии и энергически вывел экипаж из омута, который готов был поглотить его. Не укрылись от взгляда Кати и ранние его седины, и грусть, оттенявшая его бледное лицо. Мудрено ль, что интерес происшествия, вместе с чувствами удивления к его отваге, и сострадание к нему сильно зашевелили ее пылкое воображение и доброе сердце. Невольно вспомнила она слова его: «С этих пор могу дорожить жизнью». Непростое, приличное только к случаю, приветствие заключалось в них: слышалось в голосе его глубокое, задушевное чувство.

Волгин не вышел в сени проводить Горлицыну, чтобы из этого не сделали какого-нибудь заключения дворовые их лю-

ди и хозяйева постоянного двора, охотники, как и вся братия их, выводить из всякой безделицы догадки своего рода. Для этой же причины он не хотел ехать вслед за ней. Между тем сильно затронула и его сердце интересная Катя Горлицына со всею романтической обстановкой настоящего дня.

Наконец Катя в Холодне. Отец в парадном платье сторожил на берегу Холодянки. Она выпрыгнула из кибитки и упала в его объятия. Ласкам с обеих сторон не было конца. Александр Иванович не насмотрится на нее, не налюбуется ею. Любовь его к дочери была какая-то благоговейная, как будто не к земному существу. Так дивно хороша она ему кажется, так напоминает мать свою! Пошли в гору. Горлицын задыхался от усталости и радости. Катя хотела вести его под руку; он долго спорил, наконец победа осталась за ней. В несколько минут осмотрела она свое новое жилище, находила его слишком обширным, просила отца обменяться комнатами: на этот раз он восторжествовал. Увидав портрет матери в своей спальне, она со слезами пала перед ним на колени. Ей казалось, мать улыбалась ей, посылала ей свой привет и благословение. Не знала Катя, как благодарить отца за то, что поместил с ней в спальне такую дорогую подругу. Отныне будет она ежедневно отдавать ей отчет в каждом тайном помысле, в каждом необыкновенном движении души. Птичкой облетела она сад; полюбовалась цветами, подышала их запахом, приколола розы к груди, в волосы, с межи садика успела налюбоваться живописными видами.

– Боже мой! как это хорошо! да это рай земной! – твердила она.

– Это все твое, душа моя, – говорил Александр Иванович.

– Все мое! – восклицала она и целовала руки у отца, как будто принимала от него в дар дом, сад, окрестность, все, что глазами могла только окинуть.

С этого времени он называл ее молодой хозяйкой.

На третий день Горлицын, счастливый, гордый, выпросив экипаж у Пшеницына, повез свою молодую хозяйку с визитами по городу. Везде, куда приезжал, казалось, говорил: «Смотрите, какова моя Катя! полюбуйте ее!» И как было ему не гордиться таким сокровищем? Везде показала она себя скромной, любезной, приветливой; нигде не выставляла превосходства своего воспитания и ума над девицами, мало образованными, с которыми познакомилась; со всеми из них охотно делилась новостями о покроях платья и разных петербургских нарядах, которые составляют важный предмет любопытства даже не одних провинциалок. Все хвалили ее, некоторые с завистью, большая часть от искреннего сердца. Во всех домах, где она была с отцом, говорили: «Ну уж дочка у соляного пристава! Нечего сказать, красавица такая, и разумница, и уважительна к старушкам. Ведь сама государыня жаловала ее в институте. Не худо бы, дочки, и вам перенимать ее деликатность и придворное обращение. Уродилась, видно, под счастливой планидой. Только вряд ли скоро женишка найдет: бесприданница! Отец гол как сокол, а красота

не одевает и не кормит. За бедного идти самой не приходится, из куля да в рогожу». Но майорская дочь Чечеткина, не выдавши Кати в лицо, с особенной злобой отзывалась, что одни холоденские неотесанные дуры могут найти в ней что-нибудь хорошее; амбиции вовсе не имеют, унижаются перед дочерью соляного пристава. Даже готова была затеять процесс о том, что приезжая и не так красива, и не так воспитанна, как о ней говорят.

Ваня Пшеницын мило прочел Кате стихи. Мальчик ей очень понравился. Она целовала его в дутые, румяные щечки, в глаза, исполненные живости и наблюдательности, убираала его шелковые кудри, падавшие по плечам. Объявила также, что он отныне будет ее пажем. Когда ж узнала, что его зовут Ваней, еще более осыпала его своими ласками. Заметив книжный выговор его, когда он произносил стихи, вероятно, по примеру своего наставника-семинариста, вызвалась, от нечего делать, давать мальчику уроки в том, что сама знала. Александр Иванович боялся, что это будет ей трудно. Пшеницыны обрадовались предложению, но совестились принять его, хотя втайне и имели намерение сыскать случай поприличнее отблагодарить дочь Горлицына. Катя настояла на своем. Восемилетний мальчик очень любил ласки девиц и дам, только хорошеньких, любил целовать их белые, нежные ручки и засматриваться на их глазки. Он прыгал от радости, что его учителем будет хорошенькая Катя вместо долгополого семинариста, у которого голова с овин, вечно в пуху,

голос гнусливый, как будто ему прищемили чем-нибудь нос; к тому ж говорил не так, как другие люди, всегда на *о* и на *аго*, свысока; иной раз и не разберешь, что толкует.

Катя была в восторге от всего, что нашла в Холодне и особенно от своего домика и садика. Но по временам закрадывалось в ее сердце воспоминание о переправе через реку и образ интересного дорожного спутника. Не могла она дать себе отчета, к чему, на какой конец все эти думы, эти впечатления. Ведь она дочь незначительного соляного пристава, а Волгин, очень богатый человек, вероятно уж и забыл странную встречу, которая только для нее, простодушной институтки, была занимательна. Он и не думает о ней: это легко понять из того, что давно приехал в город, а в доме их не показывается.

Она рассказала отцу все, что с ней случилось в дороге, утаив, разумеется, впечатление, произведенное на нее Волгиным. Александр Иванович крестился и благодарил Бога, что дочери послал счастливый случай спасти от такой беды четырех человек, а пуще всего, что сама избавилась от беды. Не скрыла, однако ж, Катя от отца своего, что слышала о Волгине от старого слуги...

– Кабы видели, папаша, какой он бедненький, грустный, – говорила она. – Если придет, приласкайте его хорошенько.

– Как же, как же, душечка, – отвечал Горлицын. – Жаль, человек не старый, а сколько горя перетерпел! Только не идет что-то, а видели его в суде дня с три.

Эти слова заставили Катю сказать про себя с досадой: «Какой же он негодный!»

Действительно, Волгин дня с четыре был в Холодне; но противясь, неизвестно по какой причине, собственному желанию увидеть Катю и переехать на квартиру против Горлицына, о которой уж много ему говорили, искал себе, с необыкновенным упрямством, по разным частям города другого помещения. Однако ж удобной квартиры нигде не нашлось, и он поневоле пошел смотреть ту, которую указывал Филемон его людям. Катя видела из своего садика, как Волгин пошел осматривать дом соседа, как вышел из него, после, на другой день, в него переехал и выезжал со двора, но ни разу ему не показалась. А он — он желал увидеть хоть край ее одежды. Странно! Ему стоило только сделать несколько шагов через улицу, чтобы увидеть ее. Наконец он не выдержал и послал своего слугу к Горлицыну просить позволения представиться ему, приказав также сказать, что он тот самый, который обязан так много Катерине Александровне. Горлицын отвечал, что будет очень рад дорогому гостю. Во время этих переговоров сердце Кати сильно замирало. Она желала и как будто боялась этой встречи.

Гость был принят на парадной половине Катерины Александровны. Молодая хозяйка не показывалась. С обеих сторон обменялись простыми, задушевными приветствиями. Волгин извинялся, что ранее не исполнил своей обязанности за недосугами по делам в суде. Катя все еще не прихо-

дила. Отец, отворив несколько дверь в другую комнату, сказал: «Что ж ты, Катя, не идешь посмотреть на утопленника с того света? А сама еще...» Он не договорил, потому что дочь лукаво погрозила ему пальцем. «Сейчас», – был ответ из другой комнаты. Как ни старалась она, махая на себя веером, освежить свое лицо, на котором румянец жарко разыгрался, не могла в этом успеть и вынуждена была, с разгоревшимся лицом показаться гостю. Обворожительно хороша она была в эту минуту! Красота ее, не обремененная дорожными принадлежностями одежды, в которой видел ее Волгин, озаренная горячим душевным колоритом, так смутила его, что он растерялся и, видимо, отыскивал слова, чтобы начать с ней разговор. В эти минуты можно было принять его за новичка в свете и даже не очень умного. Но, оправившись, он успел завязать с Горлицыным интересный разговор, в котором выказал ум Свой, знание, людей и образование, довольно редкое в тогдaшнее время. Старику он полюбился с первого взгляда. Потом обратился к Кате, расспрашивал о впечатлении, сделанном на нее Холоднею, не позволяя себе ни малейшей насмешки насчет городского общества, как это обыкновенно делают приезжие из столиц в провинцию, и спросил, не скучает ли она о Петербурге.

– Мне здесь так хорошо, как нигде не бывало, – отвечала она. – Скромная жизнь здешняя мне очень нравится. Там я жила в палатах; вспоминаю о них с благодарностью, с любовью, потому что в них получила воспитание. Все-таки это

была клетка, хоть и золотая... Но здесь, по милости папаша, я хозяйка, вольная птичка. А посмотрите сюда (она указала Волгину из окошка на вид за рекой): это все мои владения. Никто не мешает мне наслаждаться ими.

– И ничто? – спросил Волгин.

– И покуда ничто, – сказала Катя.

Вскоре Горлицына стали вызывать в другую комнату по делам службы. Ему надо было идти, а между тем он советился оставить гостя. Волгин заметил это и спешил сократить свое первое посещение. Но через день пришел опять.

Молодая хозяйка повела своего гостя в сад, и отсюда указала ему на лучшие виды. Слова ее придавали каждому предмету тот художественный или поэтический образ, который только избранные натуры могут угадывать и уловить в созданиях природы и искусства, в наружности и душе человека. Волгин восхищался садом, восхищался местностью, но более увлекательной, живописной речью своего прекрасного чичероне.

– Если вы так любите природу, – сказал он ей, – что ж с вами станется, когда всю эту прекрасную картину застелят снега?

– А люди? Разве их нет здесь? Со мной отец, который для меня все. Здесь я нашла добрых и любезных людей в семействе предводителя, еще кое-где. Вот, даже в семействе купца Пшеницына... Вы с ним, конечно, не успели еще познакомиться?



– Купца? Нет... я еще... не познакомился. Да что ж, особенно вам, с вашим образованием, можно найти приятного в семействе холоденского купца?

– Познакомьтесь, и вы скажете совсем другое. У этого купца прекрасная русская библиотека. Такой, конечно, нет у всех дворян вместе здешнего уезда. Этот купец живет с большим приличием. Не говорю вам о его доме: в нем найдете вместе с роскошью вкус и любовь ко всему прекрасному. Скажу только, что он выписывает иностранца-учителя для своего сына, премиленького мальчика, что он хочет дать ему отличное воспитание.

– Вы меня удивляете!

– Познакомьтесь, я вам советую, и полюбите там моего пажика Ваню. Видите, я уж набираю здесь свой холоденский штат.

– И верно, успешно. Вам стоит только взглянуть, сказать слово, и преданные служители стекутся к вам со всех сторон. А меня, старика... приняли бы вы в число их, этих верных, преданных служителей?

– Старика? (Катя засмеялась при этом слове.) Какой же вы старик?.. Вас я... знаете ли, какую должность я бы вам дала?

– Желал бы очень знать, к чему удостоите.

– Вас сделала бы я начальником своего холоденского флота. Вы так отважны на водах...

– Мог бы я сказать: немудрено; я служил во флоте. Но, чтоб не солгать, скажу: меня в опасные минуты, на которые

вы намекаете, воодушевляли ваш взгляд, слова, которые вы произнесли, когда молились за нас и, скажу еще более, желание жить, от которого я было отвык...

– Разве вам так рано наскучила жизнь?

– Наскучила было; я сделался ипохондриком. Но... вы говорили, что поручили бы мне свой холоденский флот. Я пошел бы за счастье быть хоть рулевым на том корабле, на котором вы сами поплывете. О! Тогда не боялся бы ни бурь, ни подводных скал.

– Благодарю вас. Но, как вы скоры!.. Я не успела еще заслужить такой горячей преданности. Мы видимся только в третий раз.

– А путешествие по водам? Оно стоит годов знакомства. Не вам ли обязан...

– Это сделал Бог.

– Но вы были орудием Его.

– Благодарю за это Бога и буду вечно в молитвах своих благодарить.

– Поэтому вы будете помнить и спасенного вами? – Уж конечно.

– Забудете.

– Никогда!

Это слово было так энергически сказано, как будто бы Катя давала священный обет в роковую минуту жизни. Кажется, более с обеих сторон нельзя сказать: так скоро увлеклись они чувством, которое старались оправдывать предопреде-

лением судьбы.

В одно из первых затем посещений Волгина, Катя, заметив, что сосед был очень грустен, сказала ему:

– Знаете ли, я желала бы видеть в своем штате людей веселых, счастливых. А вы... – Катя не закончила.

– Говорите.

– Я только что со школьной скамейки и потому скажу вам с простодушием институтки и участием доброй соседки: на лице вашем вижу часто грусть, которая как будто вас преследует. Вот теперь... признайтесь.

– Следы меланхолического характера... Еще прибавлю – и я буду с вами откровенен, как преданный вам человек – может быть оттого, что я в жизни моей не знал счастья, именно сердечного, душевного счастья. Лучше скажу, я был очень, очень несчастлив. Но как же вы... заметили?

– Видно, у женщин есть для этого особенный инстинкт. Как, отчего, – я вам теперь не растолкую. Когда-нибудь после... с годами, с опытом, хотела я сказать... я до этого дойду.

– А ваш инстинкт отгадает ли, что у меня теперь на сердце, кроме печальных мыслей о прошедшем?

– Теперь?.. Нет, моя премудрость отказывается от этой разгадки.

– Жаль, вы прочли бы в этом сердце надежды на лучшие дни. Может быть, безрассудные надежды! Но все-таки они обольстительны. Не знаю, что случилось бы со мной без них.

Подошел к собеседникам Александр Иванович, который до этого обрезывал сухие сучья на деревьях, и разговор сделался общим.

С этого времени Волгин и Катя виделись чаще. Видеться, говорить друг с другом сделалось для них потребностью жизни. Уже и отец ее полюбил своего доброго, умного соседа, который умел так хорошо рассказывать о морских сражениях под начальством Чесменского и Ушакова, о Греции, родине предков Горлицыной, где природа так хороша, женщины так похожи на портрет, висевший в спальне Кати. Случалось, Волгин не придет день, другой, и шлют к нему посла: «Приказали-де сказать, соскучились по вам соседи». А иной раз Катя прибавит: «Адмирал велит своему капитану немедленно явиться к нему по делам службы». Иной раз Горлицын увидит, что сосед сидит пригорюнясь у своего окна, и махнет ему рукой, а дочка из-за него покажет свое хорошенькое личико: этого было довольно, чтобы сосед сейчас явился. Уже не подле мельницы, прогулки по реке и в роще, путешествие на богомолье в ближайшие монастыри, по обетам, которые каждый держал при себе – всегда с отцом, иногда с семействами предводителя и Пшеницыных, с которыми приезжий успел познакомиться, сблизили еще более Катю и Волгина. Вместе наслаждались красотами природы, веселились одними удовольствиями, вместе в храме молились и, может быть, об одном и том же. Улицы как будто между ними не существовало: казалось, они жили и засыпали под одной кров-

лей. Хотя между ними не было произнесено слово любви, оно было уже неоднократно высказано в их глазах, в движениях, в прерванной речи, даже в пожатии руки. Катя любила первой и последней своей любовью; порывы ее страстной души были сдерживаемы только чувством стыдливости и приличия, и правилами, данными ей в институте. Не укрылись от отца взаимные чувства дочери и Волгина; партия для нее была блестящая, какой и во сне ему не снилось. Сначала смотрел Горлицын на любовь их с удовольствием, потом она стала пугать его. Прошло три месяца с того времени, как Волгин жил в Холодне и между тем не делал предложения. Дело его по вводу во владение имением было кончено, однако ж, он не выезжал из города. Раз как-то дал он Горлицыну понять темными, таинственными намеками, что у него есть какие-то обстоятельства, которые еще мешают ему яснее открыться... Чтобы такое было? Отец ломал себе голову над догадками, сердце дочери разрывалось от неизвестности. Родителей у Волгина нет, следовательно, он волен располагать своей судьбой. Горлицын подумал, нет ли у него тайной связи, которую он желает разорвать, может быть детей, которых обязан обеспечить. Эта мысль очень тревожила старика, слышавшего нередко, как человеку, особенно честному и благородному, трудно бывает выпутаться из подобных связей, в которые люди вступают часто без участия сердечного. Еще более встревожился Горлицын, когда стали доходить до него слухи, что в городе кумушки, завистницы и сплетницы

начали чесать язычок насчет короткого знакомства соседа и соседки. Бог знает, чего тут не прибрали! Все эти обстоятельства заставили Александра Иваныча держать себя с соседом в отношениях более размеренных. Волгин уже не был приглашаем так дружески; Катю не оставляли с ним одну и даже заметили ей, чтобы она была осторожнее. Катя любила сильно, но вынуждена была признать основательность этих замечаний и с глубокой грустью, с тайными слезами исполнила волю отца.

Волгин не мог не заметить этой перемены. Он разрывался от досады, проклинал свою судьбу и – молчал. Зато погрузился в какую-то ожесточенную деловую переписку, точно заразился страстью майорской дочери Чететкиной. Знали, что он никому не поручал тайн этой переписки и сам занимался ею; знали, что он не отдавал своих писем и посылок на местную почту, а посылал ее с доверенным человеком в другой ближайший городок и оттуда получал всю корреспонденцию. Тайнственность эта возбудила в Холодне еще более толков насчет его и нанесла новое огорчение Горлицыну, который с каждым днем видел, что Катя его делается все грустнее и грустнее. Осень обнажила ее садик, успехи ученика ее Вани не утешали ее более, – все кругом ее приняло мрачный вид.

Что ж могло останавливать влюбленного Волгина просить руки той, в чувствах которой он сам был уверен?

Вот что: все, что о несчастной жизни Волгина сказали его

люди старому слуге Горлицына, было справедливо. Об одном они только умолчали, что сумасшедшая жена еще была жива.

## II

Лет за десять, с небольшим, до происшествия на описанной нами переправе через Москву-реку, в одном из подмосковных губернских городов, именно на святках, появился блестящий метеор. Это был морской офицер Волгин. Двадцати трех лет, свободный обладатель богатого имения, оставленного ему отцом и матерью, привлекательной наружности, умен, ловок, он в несколько дней сосредоточил на себе все внимание избранного городского общества. Ныне прозвали бы его львом. В то время почли бы такое прозвание слишком низким; мода, а за нею художники, писатели и весь хотя несколько образованный люд, лезли во что бы ни стало на высоты недосыгаемые. Зато сами обитатели Олимпа, по велению этой моды, сходили на землю, даже в губернские города России, куда только проникал свет из очагов столиц, роднились с простыми смертными и давали им свои имена и качества. И потому богини-девицы губернского города N с душевным замирием ждали, не поднесет ли счастливейший из них Парис-Волгин золотого яблока; не одна неутешная Калипсо молила небеса о сердцекрушении юного мореходца у берегов ее очаровательных владений. Не одна ма-

менька, скажу низким слогом, старалась, как можно лучше, скрасить свой живой товар, чтобы сбыть его в такие дорогие руки. У всех у них был один напев мужьям, чтобы употребили все возможные и невозможные средства привлечь в свой дом такого завидного женишка для их единственной дочери или одной из бесчисленных дочек. Во что бы ни стало подай Волгина! За удовольствие иметь его у себя на обеде, вечере, фантах и других святочных увеселениях тогдашнего времени, спорили, как ныне спорят за честь и удовольствие иметь у себя в доме севастопольских героев.

Закружился было Волгин в этих увеселениях. В танцах ему не давали отдыха. В менуэте à la reine это был настоящий Аполлон по отзыву прекрасного пола. Никто так грациозно не вел своей дамы в польках, не делал в контрадансах таких мудреных антраша и шассе battu. А казачек? Хотя Волгин, по тогдашнему обычаю, исполнял его в башмаках с стразовыми пряжками и шелковых чулках, старики отзывались, что родовой казак лучше его не пропляшет своего национального танца. То пригласит его мать сделать честь пройти с ее дочерью, не имевшей еще случая танцевать с таким ловким кавалером и выказать свои таланты, развитые в столице. То очаровательная девица мимоходом бросит на него молнию своих глаз, которая могла бы поднять и мертвого – а в Волгине, казалось, было две жизни – и понесется он в следующем танце с своей очаровательницей. Никого так часто не поднимали со стула в игру *sosed* и не требовал к себе *оракул*; ни на



кого так горячо не пал жгут в доказательство, что чем сильнее бьешь, тем сильнее любишь. Зато ничьих фантов столько не было, как Волгина, а фанты в то время, большей частью, выкупались бесчисленным счетом поцелуев.

Приезжая к себе с рассветом дня, утомленный, разбитый, Волгин не чувствовал, как слуга раздевал его и укладывал в постель. Только во сне все еще мерещились ему огненные и томные глазки, тоненькие и толстенные губки, и отдавался в ушах его звук сладких речей. На другой день встанет свеж, здоров, весел, и опять за те же упражнения. Мудрено ль? Он был так молод, не знал за собой горя и не видал его перед собой.

Чаще других посещал молодой моряк дом Сизокрылова, очень значительного лица в губернском городе, и потому чаще, что у этого лица был сын, приятель Волгина. Молодые люди вместе поступили на службу, вместе делали одну морскую кампанию, вместе кутили. Приняв наследство, Волгин поехал в губернский город познакомиться с властями, с которыми имел дела по своим имениям, повеселиться и повидаться с своим бывшим товарищем, вышедшим уже в отставку. Не испытав еще ни измены любви, ни измены дружбы, мало знакомый со светом, он видел во всех людях одни добрые, благородные качества. За молодого же Сизокрылова, умевшего доказать ему свою дружбу многими услугами, готов был, как говорят, на ножи. Напротив того, этот друг, хотя и немного постарше Волгина, но ловкий, пронырливый,

перегоревший уже в опытах жизни, с первого раза, как увидел его в своем семействе, схватился за счастливую мысль загнать эту дорогую птичку в расставленные сети. И вот на какую приманку.

У него были три сестры. Старшая, Гликерия, по календарю, и Лукерия, по народному произношению, была красивее и бойчее других. Она танцевала менуэт, как королева французская, пела русские песни, как малиновка. Если б заглянуть в акт ее крещения, можно бы по нем счесть ей двадцать пять лет. Но кто ж пойдет справляться с актами? Наружность и родители давали ей только двадцать лет. В свете это была самая привлекательная из девиц губернского города N. Увы! местные женихи знали, чем она была дома, и потому не посягали на счастье назвать ее своей супругой. По этой-то причине и засиживалась она в девическом состоянии. Младшим сестрам, хотя и не с такими блистательными наружными качествами, но добрым и любезным, представлялись достойные партии, и напрасно. Мать их, женщина неразумная и бестолковая, страстно любившая старшую дочь, баловавшая ее с малолетства, и слышать не хотела, чтобы, помимо ее идола, шли меньшие ее дочери к брачному алтарю. Старшую дочь величала она Лукерьей Павловной, а меньших не иначе называла, как девчонками. Вы думаете, что баловень-дочка платила ей такой же любовью? Нимало. Часто Лукерья Павловна хохотала над своей маменькой, когда та, за неимением бровей, разрисовывала себе неправиль-

но брови так, что одна уходила концом вверх, а другая утлом загибалась на веки; часто прикрикивала на нее, говорила ей в глаза, что она необразованная, степная барыня, а за глаза, при сестрах и домашней прислуге, честила ее даже и душой. Мать приказывала, а дочка отменяла приказание, не для того, что считала свое распоряжение лучшим, а для того, чтобы поставить на своем. Чего не терпели от нее две Сандрильоны, ее меньшие сестры! Покупка и выбор для них материй на платья, покрой этих платьев, прическа, выезды, даже рукоделья, все что могло радовать и утешать этих бедных жертв, зависело от домашнего властелина, все получалось от каприза или великодушия его. Сестры не могли любить Лукерью Павловну, но боялись ее и льстили ей из надежды щедрых ее милостей. Зато мало уважали мать, которой несправедливое предпочтение любимой дочери возмущало их душу. Властолюбивая, нетерпеливая и вспыльчивая, Лукерья Павловна жестоко обращалась и с своей прислугой. Сколько раз ее ручка оставляла красное пятно на щеке ее горничной! Даже раз удостоилась эта несчастная кровавого возмездия булавкой за то, одевая свою барышню, слегка нечаянно уколола ее. Вот какое сокровище готовил молодой Сизокрылов своему другу! Виды были не глупые. Он хотел, во-первых, избавиться от домашнего тирана, под зависимостью которого и сам находился, хотя и в меньшей степени, нежели другие члены семейства; во-вторых – занять место этого властелина и через то свободнее удовлетворять свои страстишки, до сих

пор стесняемые контролем сестры. Надо сказать, что и сынок был маменькин баловень, но занимал только второе место в сердце ее и в доме. Пожалуй, удовлетворение этих видов могло принести пользу меньшим сестрам, которым, вслед за старшей, открывался выход из нерадостного дома родительского. Тогда-то молодой Сизокрылов мог бы распоряжаться своей маменькой, как хотел.

Отец, не мешавшийся ни в какие домашние распоряжения, озабоченный только делами и через них приобретением денег, и ежедневно искавший развлечения от служебных занятий в карточной игре, довольно сильной и счастливой, не знал и не хотел знать, что происходит в его семействе. Он дал, какое мог, воспитание детям; безоговорочно, по требованию жены, выдавал ей деньги на расходы, протягивал каждое утро и каждый вечер свою руку сыну и дочерям для обычного лобызания и уверен был, что выполнением этих обязанностей делает все, что повелевает ему долг отца и главы дома.

Волгину нравилась Лукерья Павловна, пожалуй, немного более других девиц. Ни с кем он так охотно не рисовался в менюэте, как с ней; с удовольствием заслушивался ее соловьиного голоска, наслаждался ее живой, умной болтовней, говорил ей комплименты. Но особенной любви к ней не чувствовал, тем менее думал искать руки ее, несмотря на все старания братца выставить ее в самом привлекательном виде. Со своей стороны, Лукерья Павловна искренно, без

расчетов на богатство Волгина, всеми силами души пылкой, необузданной полюбила друга своего брата. Не зная до двадцати пяти лет, что такое любовь к кому-нибудь, лишь только извела ее, она предалась ей безгранично, с тем увлечением, с каким предавалась своим худым наклонностям. Казалось, любовь преобразовала ее. Ласкаясь к матери, угождая сестрам, особенно внимательная к брату, добрая с прислугой, она как бы хотела вознаградить всех их за прошедшие несправедливости и оскорбления. Все в доме были веселы, счастливы, прислуга крестилась.

Был званый вечер у Сизокрыловых. В этот день любовь придала голосу, речи, всей наружности Лукерий Павловны какое-то особенное очарование. Она действительно была хороша. Моряк ею одной только и занимался.

В одном из антрактов между танцами он стал отыскивать ее в зале и, не найдя, прошел анфиладу комнат, наконец пробрался в какой-то отдаленный уголок дома. Здесь царица этого вечера сидела на диване одна, в глубоком раздумье, опустив голову на грудь, скрестив руки. Восковой огарок слабо освещал комнату. Услышав чьи-то шаги, Лукерия Павловна вздрогнула и подняла голову. Печальный и вместе знойный взгляд ее упал прямо в сердце молодого человека. Волгин не мог ему противиться и сел возле нее. Несколько слов было им сказано с восторгом о том впечатлении, которое она сделала в этот вечер и особенно на него. Отвечала с глубоким вздохом, что если она желала нравиться, так это

одному только. Затем дрожащая ручка попала как-то в его руку; он горячо поцеловал ее, еще раз и еще. Как-то нечаянно набрел брат на эти поцелуи. Он показал вид, что ничего не заметил, отворил дверь в соседнюю комнату и закричал: «Чаю мне!» – потом присел к смущенной парочке, будто для того, чтобы помешать повторению слишком нежных сердечных изъяснений. Разговор упал на очень обыкновенные предметы. Но вскоре смычок подал свой призывный голос, и все трое отправились в зал, чтобы снова пуститься в выделывание разных затейливых фигур и па, строго предписываемых в тогдашнее время законами моды.

Когда разъехались гости, молодой Сизокрылов зазвал к себе в свое холостое отделение Волгина вместе с близким своим родственником, тоже молодым человеком. Надо было ковать железо, пока оно было горячо. Подали вина; хозяин не жалел его. Пошли горячие изъяснения дружбы. Волгин, отуманенный напитками и еще свежими сладкими воспоминаниями, провозгласил тост: «Нынешнего вечера царице и хорошенькой сестрице!»

– Послушай, брат, – сказал Сизокрылов, – мы с тобой друзья; я это, кажется, доказывал тебе не раз на деле. Но есть шутки, которых и дружба не терпит равнодушно.

– Я не шучу, – отвечал с горячностью Волгин.

– Надеюсь, и поцелуями, на которых я давеча застал тебя. Зашел, брат, далеконочко!.. Добро б еще к случаю, при многих, а то наедине, в дальней комнате... ты не знал, что это

спальня Луши (он лгал); ты не знал, что подле чайная комната и люди видели все из нее... Теперь при постороннем, хотя и моем родственнике, ты вздумал хвастаться тостом за здоровье *хорошенькой!*.. Ваня, я этого не ожидал от тебя...

И Сизокрылов закрыл себе глаза руками.

– О! когда так, зови сейчас сюда свою сестру. Я никогда не делал неблагодарных дел и это докажу. Говорю тебе, проси сюда с отцом и матерью... Я повторю при них.

– Сюда?

– Воля твоя, у меня ноги подкашиваются, и я не в силах взойти наверх.

– Послушай, опомнись, не вино ли говорит в тебе?

– Вино?.. Смотри, брат, есть границы и для дружбы, ты сам сказал.

– Когда так, видно на то воля Божья! Иду, но прежде, друг и брат, сюда к сердцу, которое предаю тебе на жизнь и смерть.

Прятели горячо обнялись, и Сизокрылов, боясь, чтобы слово, в чаду опьянения, не выдохлось скоро, отправился радостным вестником на половину своих родителей. Третье лицо, пировавшее с ними, заключило также в свои объятия будущего своего родственника.

Упавшая с неба манна или груды золота не могла бы так изумить и обрадовать стариков Сизокрыловых и любимую дочку, как неожиданная весть, принесенная им дипломатом-сыном. Несмотря на странность вызова по такому важ-

ному случаю, в пять часов утра, в отделение молодого Сизокрылова, отец, мать и Лукерья Павловна, в чем их застала эта весть, один без парика и галстука, другая с остатком брови, третья в интересном беспорядке, поспешили исполнить волю дорогого жениха. При появлении их в комнату, где недавно оргия была в разгаре, где не успели еще прибрать бутылок и бокалов, предложение Волгина было повторено и запечатлено поцелуем жениха и невесты. Нашли еще нужным, чтобы до настоящего обручения они поменялись кольцами, которые случились у них на руках. Это делалось будто в силу какого-то древнего поверья, а скорее для того, чтобы Волгин не забыл, проснувшись, что он жених. При желании счастья будущей чете, вспырынули их шампанским. Требовалось подсластить вино, и Волгин в восторге целовал без счета свою нареченную, упоенную также своим неожиданным счастьем. Расстались все довольны. Молодой Сизокрылов отвез своего приятеля на его квартиру, уложил сам в постель и щедро одарил людей его, не забыв прибавить, что это делается от имени невесты, Лукерии Павловны.

В полдень проснулся Волгин, разбитый, с отяжелевшей головой, сердитый, смутно помня роковое событие утра, как будто виденное во сне. Но удостоверили его в этом событии поздравления слуг и незнакомое кольцо, сиявшее на его руке.

Воротить прошедшего было уж невозможно, и через две недели состоялась свадьба.



Хотя Волгин о приданом и не спрашивал, *молодая* принесла ему в свадебной корзине слишком сто душ, много серебра и все другие предметы роскоши, которые в подобных случаях отпускаются с дочкой богатыми и нежными родителями. Замечено однако ж было, что в числе женской прислуги, вошедшей в роспись приданого, по собственному выбору Лукерии Павловны, отпущены такие личности, которые не награждены были от природы очень хорошеньким личиком.

Казалось, ангел-хранитель молодой четы уберег медовый месяц их от всяких неприятностей. Счастливой, влюбленной парочке завидовали. Волгину не было причин раскаиваться в браке, так нечаянно, экспромптом состряпанном, и он не каялся. Он полюбил жену искренно. Но вскоре начали обнаруживаться в ней вспышки ревности. В первые месяцы несколько сдержанные новостью положения и приличием, он в последующие стали развиваться. Иногда, без всякого повода, Лукерья Павловна умоляла мужа, чтобы он клялся ей в вечной любви и верности. Это сначала смешило его. Видя в этих просьбах только порывы сильной к нему привязанности, он исполнял ее желанья, но замечал притом жене, что если благородный, с твердыми правилами, человек раз дал клятву при алтаре Божьем верно любить свою жену, так новые обеты совершенно лишни; ветреного же мужчину и клятвы не удержат. Повторение этих просьб стало надоедать Волгину. Иногда супруга надуется на него, не говорит с ним по несколько часов. За что? за то, что он вел несколько жи-

вой разговор с хорошенькой дамой или девицей. Случалось даже, что Лукерья Павловна наговорит колкостей этой даме или девице. Терпеть эти оскорбления никто не находил нужным. Замужние женщины платили ей той же монетой, за девиц заступались матери, и от этих ссор выходили неблагоприятные истории, падавшие всем бременем своим на голову бедного Волгина. Дом молодых супругов стал понемногу пустеть; вследствие того и выезды их сделались реже. Волгин любил танцевать. Ему посоветовали, а потом потребовали, чтобы он не танцевал более, потому что мужчина, посвятив себя раз избранной им женщине, не должен находить удовольствие ни в чем с другой. И это требование вынужден был исполнить, не по слабости характера, а для того только, чтобы избежать домашних ссор или гласного оскорбления, на которое жена, забыв всякий стыд, не раз покушалась. Даже сестры получали от нее обидные выговоры за то, что осмелились слишком любезно говорить с ее мужем. И сестры ограждали себя холодными отношениями к человеку, которого любили, как достойного всякого уважения родственника, и ограничивали беседу с ним одними лаконическими ответами: да-с, нет-с.

– Помилуй, сестра, – говорил Лукерий Павловне братец-дипломат, – я устроил твое счастье, а ты, как безумная, ставишь его вверх дном. Муж тебя любит, но есть мера и терпению. Ну, если бив самом деле маленькая неверность... эка беда!

– О! тогда я убью его, – возражала Лукерия Павловна, – или сама убьюсь.

Довольно было всех этих выходов, чтобы ожесточить мужа. Но, как вспышки, они скоро проходили, уступая глубоко-кому, искреннему раскаянию. Кто увидал бы в это время несчастную, пожалел бы ее. Она падала перед ним на колени, целовала его руки, обливала их слезами и умоляла простить ее безрассудство, клянясь, что исправится. Волгин, добрый до бесконечности, любя еще жену и стараясь сам себе оправдать эти вспышки одной безмерной любовью к нему, великодушно прощал. И мир воцарялся между супругами хоть на несколько недель. Тем более Волгин считал долгом быть снисходительнее, чем Лукерия Павловна была в *интересном* положении. Каких странностей и капризов не приписывают этому положению! И он любил относить к нему ж припадки ее ревности. Зато сколько утешений принесет обоим супругам первенец их! Благоразумие, мир, счастье должен он был водворить в семействе! Такими надеждами лелеял себя Волгин и окружил жену заботами и угождениями, как нежный любовник.

Был летний месяц. Они поехали на несколько недель в деревню. На беду случилось, что в это время приехала к ним замужняя дочь его родной тетки, женщина очень приятная и любезная. Прием ей сделан был радушный. И хозяйева, и гостья были веселы. Волгин повел кузину показать ей хорошенький свой сад, которым любил особенно заниматься.

Жена, по нездоровью, осталась дома, но, подстрекаемая своим демоном, не могла противиться его наущению и отправилась вслед за ними. Она не пошла по дорожкам, а стала пробираться кустами. Вдруг видит, муж и кузина его идут рука под руку... они смеются... потом как будто поцелуй... Никакого поцелуя не было: ей все мерещилось. Лукерия Павловна, не помня, в каком она положении, бросается вперед и падает на пень... Ушиб был силен, страдания велики; но ни одного стога не вырвалось из груди ее. Чего не вытерпела она, один Бог знает! Скрывшись за кустом, Лукерия Павловна дала пройти мимо ее мужу и гостье и потом кое-как дотащилась до своей спальни, не сказав никому, что с ней случилось. На другой день родился мертвый ребенок. Причина этого несчастного случая была скрыта и от мужа. Положение ее сделалось опасно, но через два месяца она оправилась с помощью искусного врача и сладкой уверенности, что муж ее любит, потому что во все время болезни почти неотлучно находился у ее постели, как самая усердная сиделка. Урок был ужасный! Между тем от болезни и беспрестанных душевных тревог Лукерия Павловна начала худеть и дурнеть. Глаза ее впали, в них потух прежний блеск и что-то дикое выражалось по временам, как у зверя, который хочет, но боится броситься на свою жертву; кожа ее приняла шафранный цвет. Зеркало и демон ее каждый день наговаривали ей, что муж, который моложе ее и так хорош собой, должен скоро перестать ее любить. Ревность ее, которая с каждым днем

росла более и более, стала изобретать для себя разные видения и избирать низкие средства, чтобы удовлетворить себя. Наконец в два последующие года страсть эта приняла такие ужасающие размеры, что сделала для Волгина дом его настоящим адом. Я забыл сказать, что через несколько месяцев после их свадьбы он вышел в отставку; а теперь, потеряв всякое терпение, решился бежать от жены и вступить вновь в службу с той надеждой, что откроется морская кампания или ученая экспедиция, которая отделит его на несколько тысяч верст от домашнего тирана. Если б он уехал, жена преследовала бы его на край света: были уж и на это намеки.

В эти два года Волгин был истинным мучеником. Лукерия Павловна, как стойкий аргус, следила все его поступки, все его шаги. Подкупала людей, чтобы ей доносили, куда муж ездил, с кем видается, что делает. Люди брали деньги, смеясь над ней же, но не могли лгать на барина, и потому эти средства сделались для нее недостаточны и неверны. Иногда, вечером, надев сапог своей горничной и безобразный капор, отправлялась к дому, где находился ее муж, и выведывала через какого-нибудь подосланного постороннего человека, кто из дам были в доме. И если случалось, что ей назовут имя женщины, на которую падало ее подозрение, то, по возвращении мужа, сыпались на него упреки, от которых он убегал в свой кабинет, где и запирался. Но и через дверь слышалось еще долго ее беснование. Письма его, если были приносимы в его отсутствие, подвергались ее контролю,

после чего она их вновь запечатывала, как могла. Все шка- тулки его были перерыты... Волгин хотя и замечал эти про- делки, но, не имея особенных секретов от жены, пожимал только плечами и молчал. Когда ж письмо получалось при нем, Лукерия Павловна была уж тут, в его кабинете, и из- за плеча его старалась прочесть, не скрывается ли какой-ни- будь тайной связи в послании. Муж преспокойно отдавал ей письмо и просил прочесть его вслух, так как она все руки хорошо разбирает, а почерк этого письма неразборчив. Ка- залось, нельзя было иметь большого терпения и снисхожде- ния. Этими-то орудиями он хотел победить ревность жены. Иногда покажется ей, что муж чем-то смущен; что при вне- запном появлении ее он чего-то испугался, и начнет требо- вать у него отчета в таких чувствах, от которых он был со- вершенно далек. «Скажи мне, друг мой, милый мой, – гово- рила она ему, – если ты действительно любишь кого, так луч- ше признайся мне... Для тебя я пожертвую своей любовью: откройся мне, ради Бога, я тебе все прощу». – «Никого не люблю и лгать на себя не намерен», – отвечал резко Волгин на подобные вопросы, делаемые для того, чтобы вовлечь его в ловушку. До такого простодушия и ослепления доходила безумная страсть! В другой раз представится ей, что из его комнаты вышла какая-то женщина, и уж ей слышится шелест женской одежды... На всех хорошеньких женщин в деревне она злилась и всегда искала случая чем-нибудь оскорбить их. Но горничным ее доставалось больше всех: они терпели на-

стоящую пытку. То взглянула слишком умильно на барина, то оделась пощеголеватее, чтобы понравиться барину. Одна из них вздумала кокетливо убрать свою чудную, густую косу, и коса была острижена. Другая, по подозрению, совершенно несправедливому, отдана замуж за горбуна-крестьянина.

Часто эти бешеные припадки кончались тем, что она становилась на колени перед мужем и умоляла прибить ее.

– За кого принимаешь меня, безумная? – говорил Волгин. – Унизиться до того, чтобы наложить руку на жену?.. Это может сделать только пьяный лакей или мужик. Довольно стыда и от твоих дел; не с обеих же сторон безумствовать и позориться перед людьми и Богом.

Еще чаще кончались припадки ревности истерикой и ужасными страданиями. Какие чувства могли оставить в сердце мужа все эти сцены, кроме ожесточения? Только изредка сострадал он несчастной, как будто больной, одержимой неизлечимой болезнью.

На третий год своего замужества Лукерия Павловна сделалась опять беременна. Радоваться будущему появлению в свет сына или дочери не мог уже Волгин по-прежнему. Что ожидает это дитя, когда оно осмыслится, когда поймет ужасный характер матери, несчастное положение отца и станет посредником между ними? Может статься, отец вынужден будет бежать от жены и ребенка своего; может статься, этого ребенка выучат ненавидеть имя отца. В Лукерии Павловне, несмотря на ее положение, не произошло никакой благопри-

ятной перемены; казалось, ее ревность достигла высшей силы своего безумия. Сыскалась женщина, старушка, присланная ей матерью, как будто из ада, именно для того, чтобы следить за поступками Волгина. Из угождения барыне своей она старалась потворничать ее страсти. Между разными клеветами эта мегера передала однажды горяченькую весть, что видели, как Иван Сергеевич ласкал дочь своего садовника. Может быть, и действительно Волгин сказал пятнадцатилетней девочке ласковое слово, потрепал ее рукой по розовой щечке – небольшое еще преступление, тем более, что девочке был он крестным отцом! Ее до сих пор любила сама Лукерия Павловна, знавшая, что отец и мать воспитывали дочь в строгих правилах. Но довольно искры, брошенной в душу ревнивой женщины, чтобы произвести пожар. Лукерия Павловна потребовала от мужа вопиющей несправедливости, выдать пятнадцатилетнюю девочку замуж, и за крестянина. Волгин возразил, что девочка слишком молода, дочь любимого им, заслуженного дворового человека, никакого преступления не сделала, что крестнице своей готовит он женихом сына своего приказчика из другой деревни. Отказ этот возбудил новые подозрения. Лукерия Павловна стала горячо настаивать. Муж отказался наотрез.

– Итак довольно несчастных из угождения твоей ревности, – прибавил он, – глубоко раскаиваюсь в том, что был участником в этих гнусных делах.

– Так выбирай любое, – сказала Лукерия Павловна, – или



дочь садовника завтра замуж, или завтра меня не будет на свете.

– Делай, что хочешь, – отвечал с твердостью Волгин, – а я не отступлю от своего решения. Бог и совесть мне это приказывают.

Тогда произошла сцена ужасная. Когда я слушал рассказ о ней, сердце мое обливалось кровью. Довольно, если я скажу, что эта женщина, превратившаяся в дикого зверя, в минуту исступления стала бить себя в грудь... потом удары сыпались по чем попало... Волгин, перед этим только что выходявший из двери, тотчас возвратился, но не имел времени остановить ее. Лукерия Павловна на другой день родила сына, носившего слишком явные признаки ушибов и прожившего только одни сутки. Молоко бросилось у ней в голову, и она лишилась рассудка навсегда! Да, навсегда, несмотря на все пособия искуснейших врачей столицы, куда несчастный муж отвез ее, несмотря на все попечения и заботы, которым усердно посвятил себя. Было отчего и самому ему сойти с ума! В несколько дней показались у него седины на голове. Целые полгода не отлучался он от жены. Что ж? сыскались люди, которые с голоса отца и матери Лукерии Павловны осуждали Волгина, говорили, что причиной ее сумасшествия ветреный образ его жизни и худое обращение с женой. Но совесть его была чиста, он ни в чем себя упрекнуть не мог. Лучшие лета его жизни принесены ей в жертву; не век же ему было оставаться зрителем и участником невыно-

симых страданий. Волгин уехал из дому своего, оставив Лукерию Павловну на попечение домового врача и избранной наемной прислуги, и вступил вновь на службу.

Долго еще преследовали его ужасные видения... Во всех морских сражениях, в которых случалось ему участвовать, он искал смерти и не нашел ее. В продолжении пяти лет получались им одни и те же извещения, что жена его все в том же состоянии. Один врач не мог вынести более двух лет тяжкого ухаживания за сумасшедшей. Отец и мать взяли ее к себе, и также долго не выдержали этого бремени. Принуждены были перевезть ее в дом умалишенных. Через несколько времени Волгин получает письмо из Петербурга от одного из двух братьев отца своего. Дядя описывал ему безнадежное состояние Лукерии Павловны и советовал расторгнуть брак, столько лет существовавший только по имени. «Я старый вдовец, – писал ему дядя, – детей не имею; брат мой также; ты один после нас остаешься из нашего рода. Неужели погаснуть ему? Тебе только тридцать два года. За легкомысленный поступок молодости, за необдуманый шаг ты уже заплатил девятью годами страданий. Природа, закон, справедливость и Бог приказывают тебе выйти из твоего настоящего положения. Выбери себе жену по сердцу, только чтоб была гораздо моложе тебя. Не смотри на богатство, на блестящее наружное воспитание; ты сам богат, все наше с братом достанется тебе же. Пускай выбор твой падет на бедную, хоть самую бедную дворянку, но только с добрым сердцем,

скромную. Верь моим предсказаниям, ты еще будешь счастлив. Приезжай в Петербург; посмотри, какие у нас милые, образованные, воспитанные в строгих религиозных правилах девицы выходят из института. С стряпчими советовался о твоём деле; головой ручаются за успешный исход его. Препятствий нет и быть не может. Еще скажу тебе, писал к Сизокрылову (супруга его отошла на вечное жительство; всему злу корень была. Еще бы сказал... да грех тревожить память покойников недобрыми словами). Получил от него ответ благосклонный. Чего ж ему? Возвратили все имение дочери со всеми доходами за несколько прошедших лет и все приданое ее до последней нитки. Теперь стал мягко стлать. Пишет, что христианский долг повелевает ему помочь тебе в расторжении брака. Тебя во всем оправдывает. Это письмо будет служить важным документом, когда начнется дело. Видел я и ее, несчастную, в заведении... В несколько минут она мне рассказала (и всякому рассказывает) ужасные вещи, которые только беснующаяся ревнивая женщина может изобрести. Я, старик, краснел, слушая ее... Если б женщина в полном разуме сказала бы вслух то, что эта несчастная говорила, она достойна была бы позорного столба. Как описать тебе ее наружность! Это пятидесятилетняя женщина, остов человека, готовый разрушиться. Доктора говорят, что она может скоро умереть и может еще несколько лет протянуть».

При чтении этих строк Волгин облил их слезами. Это была последняя дань женщины, которая так долго носила его

имя. Но с этого времени сердце его раскрылось для надежд лучшей жизни. Он сделался равнодушен к советам дяди, вышел в отставку и начал дело о разводе. В первой инстанции духовного суда оно было решено; в высшей должно было скоро решиться также благоприятно для него. Как писал дядя, законных препятствий, наконец, не оказалось. Но во время ожидания этого окончательного решения умер другой дядя, оставивший племяннику в наследство имение в Холоденском уезде. Встреча с Катей на Москве-реке была роковая. Сама судьба указывала ему будущую подругу его жизни. Он видел в ней благодетельного гения, пришедшего избавить его от ужасных оков, в которых до сих пор находился. Первый взгляд на нее, первые слова, ее сказанные, решили его участь. Познакомившись с Катей, он нашел в ней ту избранную, которую назначал ему дядя в письме своем. Она воспитывалась в Смольном монастыре, была скромна, добра, образована и любила его – в этом он уверился. Волгин, приехав в Холодную, боялся сблизиться с ней, как будто совесть запрещала ему вступать в новые сердечные связи, которые законы не могли еще освятить. Мы видели, однако ж, что противиться влечению сердца он не был в состоянии.

И прежде знакомства своего с дочерью Горлицына отдано им было, раз навсегда, его людям приказание сказывать везде, где не знали его несчастной истории, что он вдовец. «Таким образом, – думал он, – избавлюсь от тягостных расспросов и сожалений». Полюбив же Катю, радовался, что сде-

лал это распоряжение, без которого был бы ему загражден путь к сердцу ее; но по временам не мог не тревожиться за последствия этой уловки, противной его благородным правилам. Дело сделанное поправить было невозможно. Только уверившись во взаимных чувствах к нему Кати, Иван Сергеевич открыл все дяде своему и умолял его поспешить окончанием дела. «Высвободите меня, – писал он к нему, – из ужасного положения, в которое я себя вновь поставил, и откройте мне доступ к моему благополучию». Дядя в ответ посылал ему свое благословение и обнадеживал, что решение дела не замедлит. Сказать же Горлицыну, что брак еще не уничтожен, когда это обстоятельство было скрыто прежде, боялся, не решался Волгин. Между тем новая гроза вставала над его головой.

В таком состоянии были дела его, когда мы в Холодне расстались с ними и с семейством Горлицына.

Вскоре после того в Холодню пришел пехотный полк. Военный блестящий строй, развевающиеся знамена, изувеченные в славных екатерининских битвах статные офицеры, ловко выкидывающие разные фигуры своими эспантонами, грохот барабанов, торжественная музыка, – все это было ново в уездном городке. Спавшее до сих пор население его проснулось и зашевелилось. Толпа дивилась треугольным шляпам на офицерах и солдатах, пучкам их и пуклям, красным отворотам, и бегала за военными, как за пришельцами из чужой земли. Во время вечерней зари весь город

стекался около гауптвахты. Это был настоящий праздник. И в сердцах прекрасного пола забил барабан тревогу. В полку было несколько красивых отважных офицеров, готовых идти смело на всякий приступ.

Военные имеют особенный дар тотчас по приходе на новые квартиры узнавать, где живут хорошенькие дамы и девицы. Разумеется, большая часть их познакомились с Горлицыными и стали оспаривать друг у друга счастье понравиться Кате. Со всеми была она свободна, приветлива, ровна, старалась, как молодая хозяйка, чтобы в доме отца ее не скучали, но никому не показывала предпочтения. Как скоро же замечала, что за ней начинают слишком ревностно ухаживать, умела скоро дать знать своему поклоннику, что это ей не нравится и успеха его искательству не будет. Никогда самый храбрый из этих рыцарей не осмеливался переступить границ уважения к ней. Столько было скромности, приличия, достоинства в дочери бедного соляного пристава! В это самое время вставала для этих рыцарей новая звезда, которая хотя давно блистала на холоденском горизонте, но не имела еще поклонников. Это была Прасковья Михайловна Пшеницына. Гостеприимный дом мужа ее был открыт для всех, и офицеры хлынули туда вслед за своим генералом Эс-м, молодым, красивым. Оставался только геройски верен знамени Кати Горлицыной один офицер, приятной наружности и с прекрасными душевными качествами. Он влюбился в Катю. Поощряемый своим сердцем и опираясь на преимущества

хорошего состояния, он не мог думать, чтобы дочь бедного соляного пристава не склонилась, наконец, на постоянство его почтительной, бескорыстной любви. В Волгине же, у которого была уже седина в голове, хотя приятном и достойном всякого уважения человеке, не видал опасного соперника. Этого молодого человека звали Селезевым.

Катя не поощряла его никакими надеждами, но и не отталкивала резкими выходками и была с ним равно любезна, тем более что отец полюбил Селезнева от души. Эта партия льстила Горлицыну, потому что он видел в нем достойного, благородного, пылкого искателя руки его дочери, идущего скорым шагом и прямым путем к цели своей. «Вот этак по-нашему!» говорил он сам с собой. В Волгине же начал несколько сомневаться. Иван Сергеевич казался ему каким-то рыцарем печального образа, под непроницаемой броней таинственности, нерешительным, колеблющимся. Все это не скрылось от глаз Волгина и прибавило новые страдания к тем, которые он терпел от невозможности сделать предложение Кате.

Между тем нужды начинали сильно осаждать Горлицына. С приездом его дочери бюджет его доходов и расходов совершенно изменился. Доходы уменьшились важной статьёй — дом уж ничего не приносил. Расходы значительно выросли. Для Кати нужно было держать получше стол; приличие требовало угощать посетителей чаем, закуской. Эти угощения считались необходимыми, чтобы не показаться голыми бед-

няками и не пристыдить Катю. Посетителей нельзя же не принимать, чтобы Кате не было скучно, да и неловко принимать одного Волгина. Любовь отца рассчитывала также на верного женишка между ними. Прибавилось два человека прислуги; надо было их одеть и накормить. Хорошо еще, что Катя на деньги, полученные ею при выпуске из института, составила себе порядочный гардероб. Но мало ли что нужно девице, выезжающей в свет, хотя и холоденский? Разные вещицы для нее, которые у зажиточных людей считаются ничтожными безделками, опустошали также кошелек Горлицына, и без того скудный. Катя, жившая на всем готовом в институте, не имела понятия о том, что надо издерживать на нее и что мог отец ее издерживать. Должность соляного пристава, конечно, очень скромная; отец ее небогат, потому что не имеет каменного дома, экипажа, большой прислуги, — это знала она; но не воображала, чтобы он мог нуждаться в необходимом. Настоящую же нужду, бедность, не иначе представляла себе, как в лохмотьях, протягивающую руку для подаяния. Маленькие остатки от собственных ее деньжонок почти все мало-помалу перешли к таким беднякам. Впрочем, желая ознакомиться с домашним хозяйством (не даром же называли ее молодой хозяйкой!) и облегчить отцу занятия по этой части, она просила поручить ей эти занятия. Но Горлицын, упрямо, под разными предлогами, отказывался посвятить ее в тайны домашнего очага. Он хотел оставить ее в спокойном, счастливом неведении его скудных



средств. Зачем ее, такую молодую, довольную своей судьбой, знакомить с горькой существенностью? Радости, как певуны-птички, свили себе гнездо в ее сердце; спугнешь их, не скоро загонишь назад. Людям строго наказано было скрывать от Кати все, что могло ее огорчить или потревожить.

Когда она еще не приезжала из Петербурга, Александр Иванович не стыдился ходить с своим кулечком в лавки и на рынок. Что ему были мнения холоденских жителей! Но когда поселилась в доме петербургская, воспитанная девица, на которую обратил внимание богатый сосед, Горлицын стал стыдиться этого кулечка. Он передал его Филемону. Хозяйство от такого распоряжения не потерпело; напротив того, верный слуга покупал все дешевле своего барина, да еще умел, за недостатком денег, кредитоваться то у одного, то у другого торговца. Но и кредит начал мало-помалу колебаться. «Больно горды вы с барином, – говорили Филемону лавочники. – То-то бы ломаться не надо. Что за честь, когда нечего есть!» Такие отзывы очень раздражали старого слугу.

Грозно, настойчиво осаждали враги, называемые нуждами, домик холоденского соляного пристава и с каждым днем все теснее и теснее обступали его.

Даже в присутствии Кати крепко задумывался иногда Горлицын. Забывшись, он что-то бормотал про себя и перебирал пальцами, как будто делал какие-то выкладки.

– Что это вы, папаша, ныне так скучны? – говорила Катя, ласкаясь к отцу. – Все считаете по пальцам. Уж не беспокоят

ли вас какие счета?

– На службе не без забот, душа моя, – отвечал Горлицын. – Однако ж, все пустяки! Показалось мне, в нескольких кулях соли обчелся.

– Чтобы мне поручить вашу счетную книгу? Ведь я знаю тройное правило, а это правило золотое, пригодно во всех случаях жизни, говаривал мне учитель. Хотите, я вам сочту, сколько у вас зерен соли в магазине? Положим, в фунте столько-то зерен, в пуде столько-то фунтов, в куле – пудов, в магазине – кулей. Проэкзаменуйте-ка меня.

Горлицын засмеялся и сказал:

– Кто ж считает зерна соли? Ведь это все равно, что считать песчинки на берегу реки.

– Ну, так я вам сочту приход и расход ваших денег с моего приезда, и выведу остаток. Положим, у вас было такого-то числа 2,157 рублей 63 7/8 копейки...

– Полно ты, моя милая счетчица, – перебил Катю отец, у которого сердце сжалось еще сильнее, когда она произнесла гигантскую сумму его мнимого богатства. – Верю, что ты арифметику хорошо знаешь, да твоя мне не годится... Вот, как выйдешь замуж...

– Что ж вы меня так скоро гоните от себя?

– Гнать?.. Можно ли, душа моя?.. Ты мне одна отрада на свете. Да ведь когда-нибудь надо. Сыскался бы добрый человек, так я бы сам к вам перебрался.

– А, например, кого бы вы выбрали мне? – спросила лу-

каво Катя.

– Например, вот Селезнева.

– Селезнева?.. – И неудовольствие изобразилось на лице Кати.

– Молодой человек очень достойный. Он мне уж делал предложение...

– Что ж вы ему сказали?

– Просил подождать. Знаю, сосед был бы больше по сердцу, да... чудак какой-то... Вот уж слишком три месяца к нам ходит, ухаживает за тобой и только... серьезного ничего... Где ж? такой богатый человек, может быть, и знатная родня... а мы живем в хижине, званием невелички... Уж не потешается ли, как игрушкой, от скуки?..

– Потешается?.. Не может быть, неправда! – сказала с одушевлением Катя; но, поняв, что слишком резко отвечала отцу и могла этим оскорбить его, стала к нему ласкаться и промолвила: – Зачем же, папаша, обижать напрасно доброго, благородного человека?

Катя не могла ничего более сказать, заплакала и упала на грудь отца. Александр Иваныч заметил, что любовь пустила слишком глубокие корни в сердце дочери, крепко смутился и проговорил:

– Ну, виноват, душечка; так к слову сказалось... Прости мне. Времени у тебя впереди много. Господу поручаю тебя и твою судьбу. Он лучше нас все устроит.

Этот разговор оставил, однако ж, тяжелое впечатление на

душе Кати и заставил ее придумывать, что бы могло остановить Волгина сделать отцу предложение, Волгина, который, казалось, так ее любит. Обманывать ее он не может, нет и сто раз нет!

Когда Катя вышла из комнаты отца, он грустно проводил ее глазами, покачал головой и опять впал в глубокое раздумье, и опять стал перебирать пальцами. «Жалованье взято вперед за два месяца: статья конченная. Занять у Пшеничных? Неловко: по службе имеет отношения. За послугу надо быть благодарным». Сколько знает он людей, которые, задолжав усердным кредиторам, делались их ревностными слугами; как часто благодарность вводила в нечистые дела!.. «У предводителя? Просить, ох, тяжело!.. Дадут, чем отдать?.. Предводитель же сам не Бог знает какой богач, ждать долго не может. Еще более запутаешься. Заложить серебряные часы, подарок жены на второй день брака? Разве прибавить к ним обручальные кольца?.. Пожалуй, скрепя сердце, он послал бы их с Филемоном к какому-нибудь ростовщику. Но что даст за них ростовщик? Безделицу, а возьмет жидовские проценты. Заложить дом? Но завтра ж он может умереть, и какое наследство оставит дочери?..»

Приближался час, когда Горлицын мог отчаянно сказать – незначительное, хотя пригодное на этот случай, изречение Франциска I после поражения под Павией: все потеряно, кроме чести! Нет, роковые слова чиновника-бедняка, у которого есть дочь, нежно любимая – слова, много значащие,

хотя и очень простые: осьмушку чаю, фунт сахару на завтрашний день! Год жизни за осьмушку чаю, за фунт сахару!

Правда, были еще у Горлицына два средства отдалить этот роковой час и взять передышку от бремени нужд, которые на него налегали. Первое средство предложил ему усердный Филемон в одно из совещаний, на которые они сошлись тайно от всех; другое само собой представилось Александру Иванычу в минуты отчаянного его положения.

Филемону передал по секрету старый инвалид, приставленный к соляному магазину, что в этом магазине есть несколько десятков лишних кулей, накопившихся с годами, оттого что у Александра Иваныча не было или было очень мало утечки и усушки, положенных даже законом. Неровен час, приедет ревизор, да еще взыщет за лишнюю соль; пойдут допросы, откуда взялась. Что скажешь? как отделаешься от этих зубастых допросов? Для безопасности должно, без греха можно, ее продать. Инвалид и старый слуга берутся это сделать так, что никто не узнает. А денежки можно выручить хорошие.

– Продать, из казенного места, казенное добро в свою пользу? Посягнуть на воровство первый раз в жизни? Сделать дольщиками этого воровства слугу и сторожа? Да как ты осмелился мне это предложить, сударь ты мой? Да я тебя упеку и с твоим инвалидом, куда ворон костей не заносит! Что мне ревизор? Соль налицо; не бесчестно, не с корыстными умыслами копил!.. Я сам донесу по начальству, и делу

конец.

Такой резкой исповедью Александр Иванович осыпал Филемона, словно картечью; но слуга не струсил. Раздосадованный, что его золотой совет, так хитро и с таким усердием придуманный, не удался, он нагрубил первый раз в жизни своему барину и покончил тем, что предсказывал ему суму, да и несчастной дочке такую же участь. Горлицын в сердцах вытолкнул его из двери. После такой неудачи и оскорбления, старый слуга впервые в жизни запил, и так запил, что не мог идти на рынок. Эту обязанность исполнила Бавкида, не преминув сначала поколотить порядком своего супруга. Новый удар принял бедный Горлицын в сердце, будто истинное наказание Божье.

Другое средство избавиться от всех этих мирских, тревожных дел было – прибегнуть к секретной шкатулке, в которой хранилась экономическая сумма, накопленная в столько лет к приезду дочери. В шкатулке уже близ ста рублей. Но деньги эти назначены Кате; они сделались ее добром, ее собственностью. Что ж? он займет не у чужого, у дочери. Придут более счастливые дни, и деньги возвратятся на свое место. Решено: секретная шкатулка – единственный источник, из которого можно почерпнуть без укора совести. Не то завтра у Кати не будет чаю, завтра... мало ли чего не будет?

В раздумье ходил Александр Иванович несколько времени по своей комнате взад и вперед, тяжелыми шагами, которые отдавались в потолок Катиной спальни. Вещее чувство ска-

зало ей, что отец ее чем-нибудь необыкновенно озабочен. Грустный, пасмурный вид, которого она прежде в нем не замечала, какая-то скрытность в поступках, тяжелые шаги, никогда так сильно не раздававшиеся над ее головой, – все это встревожило ее, и она решила идти к отцу наверх.

В это время Александр Иваныч, достав заветный ящик, бледный, дрожащими руками отпер его, будто собирался украсть чужие деньги. Только что успел он взглянуть на свое сокровище, как дверь тихо отворилась. В страхе он опустил руки, затрясся, хотел что-то сказать, но не мог выговорить слова. Жалкий, умиленный вид имел он, будто застигнутый воришка. Шкатулка была наполнена почти доверху крупной и мелкой серебряной монетой. В первые минуты Катя не могла приписать смущение отца ничему другому, как испугу, что застала его над деньгами, которые он старался скрыть от нее... Она всплеснула руками и промолвила:

– О го-го! папаша, сколько у вас денег!..

– Немного, Катя, немного, и ста рублей нет, – едва мог выговорить Александр Иваныч. – Для тебя было копил... да понадобились... крайняя нужда... Хотел у тебя в долг взять, прости мне.

И в глазах его заблестали слезы.

В этих словах, в слезах этих, было столько горькой истины, вылившейся из глубины души, что Катя сейчас поняла свою ошибку. Она схватила руку отца, нежно, крепко поцеловала ее и сказала:

– О! какой вы добрый!.. А все-таки грех вам сомневаться во мне, да еще просить у меня прощения. Разве все мое – не ваше, все ваше – не мое?.. Еще бы нам делиться!.. Ведь только нас двое и есть в семье... Давайте, сочтем, сколько тут денег. Еще есть у меня петербургских рублей десятков с лишком, положим вместе.

И еще раз поцеловав руку отца, подала ему стул, потом важно присела к столу, на котором стояла шкатулка, высыпала из нее деньги и начала раскладывать их кучками, пятак к пятачку, гривенники к гривенникам, и так далее. Тут же проговорила:

– Вот я вас за это накажу, погодите!..

От сердца Александра Иваныча отлегло; он улыбнулся прежней своей детской, прекрасной улыбкой и стал помогать дочери укладывать деньги. Сосчитав деньги, которых действительно оказалось близ ста рублей, она сыскала клочок бумаги, взяла перо и стала писать и произносить вслух написанное, припоминая себе форму заемного письма, которое видела в Петербурге у матери своей подруги:

– Я нижеименованный отец такой-то дочери занял у единокровной своей Кати 103 рубля 65 копеек – понимаете, тут будут и петербургские деньги – на бессрочное время; буде чего не заплачу, то вольна она, вышереченная Катя, требовать от меня сверх законных поцелуев, выдаваемых ей каждый день, столько, сколько она пожелает. Теперь подписывайте. – И Александр Иваныч, усмехаясь, взял перо и под-



писал рукой, еще нетвердой, свое имя и фамилию.

– А теперь, – сказала она, целуя его, – проценты вперед. Вот вам, вот вам... ведь я ростовщик!

Оживили Горлицына эти слова и ласки, и он, собирая деньги опять в шкатулку, сказал:

– Ведь я не шутя возьму у тебя деньги; они мне нужны.

– Сказано, сделано, вот рука моя, а вот и ваше заемное письмо, – отвечала Катя, скорчив серьезную мину, ударила отца в ладонь его, молодецки пожалала ее и, свернув клочок бумаги, спрятала у себя на груди.

Так пасмурно начался и так отрадно кончился этот день. Счастливый Александр Иванович повеселел. По старой привычке он велел позвать к себе Филемона, да тот оказался опять в несостоятельном положении. Опять поручили Бавкиде сделать покупки, и на этот раз более важные. И вслед за тем довольство полилось в доме. Катя, узнав, что старший слуга болен, очень этим встревожилась, состряпала ему бузинного отвара в чайнике и сама пошла к одру больного, чтобы дать ему это лекарство. Филемон был в жару, мутные глаза едва узнали барышню, к которой потянулся было целовать руку... Катя думала, что старик в самом деле болен, с жалостью на него посмотрела и велела своей горничной давать ему бузины, да почаще ей сказывать, будет ли ему легче или хуже, неравно придется послать за лекарем. Такое внимание доброй барышни к недостойному очень озадачило его и пробудило в нем совесть. На другой же день явился он к Катери-

не Александровне, когда барина не было дома, и повалился ей в ноги.

– Матушка-барышня, простите мне, – говорил он ей, – я вас обманул, болен не был. Бес лукавый попутал: хмельным зашибся. Отродясь не бывало со мной этакой оказии. Божусь вам, в первый и последний раз... Тятенька ведь всему причиной... больно уж совестлив.

Этими словами подана была нить в руки Катерины Александровны, и клубок стал разматываться. Тут Филемон рассказал причину своего нравственного падения и, кстати, уже развернул свиток истории всех нужд, которые одолевали Александра Ивановича едва ли не со смерти Катининой матери, как он терпел их, не смея царской копеечкой поживиться, да как отказывал себе во всем, и прочее, и прочее, что мы уж прежде рассказывали.

Чего не открыла Кате эта простая, но страшная для нее повесть! Каким новым светом озарилась душа ее! Теперь только узнала она всю силу любви к ней отца. Все ее прошедшее было только сновидение, мечты, коварно ласкавшие ее. Она походила на дитя, которое тешится огоньками, бегающими по стене около его колыбели, не зная, что через час весь дом от них разрушится. Сколько опыта приобрела Катя в несколько минут! В каком горниле закалилась душа! Да, несколько минут тому назад, она была девочка; теперь стала женщиной, твердой, сильной, готовой вступить в борьбу с невзгодами жизни. За самоотверженную любовь надо запла-

тить такой же любовью, за великие жертвы – еще высшими, если можно.

Катя поблагодарила старого слугу за все, что он ей открыл, обещаясь никому не говорить о том, что слышала от него, наказывала не огорчать более отца неуместными советами и дурным поведением. Отпустив его, она отправилась в свою спальню, усердно, со слезами молилась образу Спасителя, которым отец благословил ее, когда она поступила в институт; долго стояла на коленях перед портретом матери... Плакала она горько эту ночь, плакала и другие ночи, но с каждым утром, умывшись, была на вид весела и необыкновенно нежна с отцом. Целую неделю каждый день ходила в соборную церковь, которая была в нескольких шагах от их дома, и так усердно молилась. Молитвы ее были об одном и том же, подать ей свыше силы принести долгу свою жертву. Волгин, в продолжение этой недели, приходил раза три, был по-прежнему особенно внимателен к Александру Иванычу. В каждом взгляде его, в каждом слове, обращенном к Кате, не могла она не заметить выражений прежней любви. Сколько раз, замечая, что отец сделался к нему холоднее, а дочь была особенно грустна, решался он объяснить свое положение, но молчал, боясь безвременной откровенностью разрушить свое счастье тогда, когда ожидал со дня на день окончания дела о разводе.

Неделя прошла, и Катя в первый затем день объявила отцу, что идет за Селезнева.

– Он добрый, достойный человек, – говорила она отцу, – я хочу, я буду его любить... Только прошу у вас три дня срока... Только три дня, – повторяла она с твердостью, – а там, не спрашивая меня, скажите ему, что я согласна.

Как ни желал Горлицын этого решения, он теперь испугался его. Согласие было дано так неожиданно, без всяких приготовлений.

– Я не неволю тебя, душа моя, – говорил он Кате, – тебе ведь жить с мужем, так выбирай себе по сердцу. – Но Катя осталась на своем. Александр Иваныч пристально посмотрел на нее и сказал с необыкновенной твердостью: – Подождем!..

Потом задумал он думу крепкую. Не получила ли уж она письма от Волгина, которое заставило ее принять такое скорое решение? Не может быть. Если б он осмелился к ней написать, Катя не скрыла бы письма от отца. Не мог же рассудок в несколько дней победить склонность, которая так сильно выказалась в последнем разговоре с дочерью, склонность, которая так быстро развилась и долго росла, поощряемая самим одобрением отца! Волгин жил в Холодне без дела; не слыхать было, чтоб он собирался куда, несмотря на то, что хозяйственные дела требовали его в новое имение. Катя ходила каждый день в церковь, чего прежде не делала. У ней были на днях глаза красны: сказано, что это от ветру... Нет, это не то, совсем не то!.. Тут что-нибудь необыкновенное скрывается. Как бы узнать?

Передумал все это Александр Иваныч и решился идти

к Волгину отплатить, может быть, последним визитом за десятки, которые был ему должен, между тем намекнуть о предложении Селезнева и испытать, какое действие произведет оно на соседа. Надо было решить судьбу Кати, а другого способа, как этот, не мог отыскать Александр Иванович по простоте души своей.

Волгин был очень рад посещению гостя. Никогда сосед не видал его в таком приятном расположении духа; оно выразилось на его лице, во всех его словах.

– Вы, как нарочно, посетили меня, – говорил он Горлицыну, – когда я только что получил из Петербурга радостное известие. На днях ожидаю другого, решительного; оно развяжет мою судьбу, от него зависит вся моя будущность.

В чем же состояло это извещение, Волгин не сказал, и сосед почел неприличным спрашивать. Загадка для Александра Ивановича все-таки осталась загадкой. Он решился приступить к более сильным мерам и, как делают удачно некоторые хитрецы, простодушною откровенностью вызвать на такую же.

– И у меня в доме, сударь вы мой, – сказал он, – готовится нечто приятное.

– А что такое? – спросил нетерпеливо Волгин.

– От вас не скрою: я вас уважаю, как друга. Вот видите, прекрасный молодой человек Селезнев... достойный во всех отношениях... вы его знаете... удостоил чести просить руки моей дочери...

Волгин побледнел, как мертвец.

– Что ж Катерина Александровна? – спросил он задыхаясь.

– Сначала Катя не хотела и слышать. Да она у меня разумная такая... Романтические бредни еще с удовольствием прочтешь в книге, а в жизни куда как не годится!.. Все дым, сударь мой!.. Господь посылает ей счастье, грех пренебрегать... Просила только три дня сроку...

Волгин вскочил с дивана, схватил руку Александра Ивановича и, крепко сжимая ее, сказал:

– Нет, этому не быть!.. Скажите, что этому не быть... Не убейте меня... Простите, что я так смело говорю... Воля родительская... но я люблю ее так сильно, так глубоко, что готов за нее с целым миром поспорить. Я полюбил ее с первого раза, как увидел; сам Господь указал мне на нее... Мое счастье, жизнь моя – в надежде получить ее руку. Ради Бога, не отнимайте у меня этой надежды.

– Позвольте, для чего ж вы до сих пор не объяснились?..

– Винюсь перед вами, я сделал в жизни своей только одно худое дело – скрыл от вас одно обстоятельство, и то из боязни потерять доброе расположение Катерины Александровны. Но ныне же... на словах не могу... открою вам все. Ныне вечером вы получите от меня письмо. Прочтите его сначала одни, потом, если дозволите, пусть прочтет ваша дочь, и тогда решите мою участь.

– Вы знаете, – отвечал тронутый Горлицын, – как я люблю

и уважаю вас. И я за честь, за счастье почел бы иметь вас своим зятем. Но... посудите сами... такие частые посещения, так долго... голова молодой девушки могла закружиться; далеко ли до сердца?.. злые языки в городе...

– Вините судьбу мою, обстоятельства!.. Намерения мои были всегда чисты; заслужить руку вашей дочери, но заслужить ее честно, благородно, – было одним побуждением моим во всех моих действиях с того времени, как ее знаю. Ради Бога, не осуждайте меня...

– Буду ждать вашего письма, – сказал Горлицын, крепко обнял своего соседа и простился с ним. Возвратившись домой, обремененный радостным предчувствием и страхом неизвестности, он сказал Филемону, сидевшему уже в передней в здоровом положении, так что могла слышать Катя из другой комнаты:

– Если придет ныне Селезнев, сказать, что нас дома нет. Слышал ты, Ричард мой возлюбленный?

– Слышал, батюшка, Александр Иваныч, – отвечал дрожащим от радости голосом Филемон, ободренный шуточным приветствием, которое всегда так приятно щекотало его сердце и которого он более недели не слышал от своего господина.

Вошедши в комнату дочери, Горлицын прибавил с веселым видом:

– Мы подождем, Катя; да, подождем!.. Утро вечера мудренее, говорит пословица, а у нас вечер будет мудрее утра.

Не знаю ничего, а знаю только, что сосед наш человек благородный, хоть и темный. Не спрашивай меня ни о чем, и будь повеселей.

И Катя, смущенная этими загадочными словами, не спрашивала ни о чем. Можно вообразить, что происходило в душе ее. Она видела, как отец ходил к соседу, заметила, что он возвратился домой веселый, нежели вышел из дому, ничего не понимала из путаницы слов, сказанных ей отцом, но слово «пождем!» было для нее так странно. Она посмотрела на портрет матери и подумала, покачав головой: «Не ты ли упростила там за меня Господа?..» Довольно было для нее уж и того, что откладывалось исполнение ужасного приговора, на который она себя осудила.

Перед вечером Горлицын получил от соседа огромный пакет и заперся у себя на ключ, чтобы никто не мешал ему прочесть, что в нем заключалось. В этом пакете было письмо на его имя, тетрадь с заглавием «Моя история», несколько документов и писем на имя Ивана Сергеевича от дяди его.

Письмо, адресованное Горлицыну, было следующее по содержания:

*«Милостивый государь, Александр Иванович!*

*Посылаю вам историю моей жизни со времени приезда в губернский город N, вместе с приложениями, которые удостоят вас в истине моего рассказа. Бог свидетель, что я не старался в нем представить себя в лучшем виде, нежели каков я был, и обременить*



лишними нареканиями женицину, и без того слишком наказанную. Да простит ей Судья Всевышний, как я простил ее на этой земле!

Желал бы я скрыть от всех в глубине растерзанного сердца эту ужасную историю; но долг мой, после того, как я признался вам в чувствах своих к Катерине Александровне, обязывает меня быть с вами откровенным, как с отцом моим. Прочтите все и осудите меня, если у вас окажутся силы осуждать несчастье, а не преступление.

Жизнь моя без пятна, совесть чиста. В одном могу только обвинить себя – в том, что я не открыл вам прежде моих обстоятельств; но и за этот невольный проступок ожидаю себе великодушного прощения: любовь и тут была причиной обмана, без которого я закрыл бы себе, может быть, навсегда доступ к сердцу вашей дочери.

Любовь моя к Катерине Александровне так сильна, что нет жертвы, какую бы я не принес ей, кроме самой любви. Я буду ждать вашего ответа целые сутки. Если не получу его в этот срок, приговор мой будет мне известен. Удар этот, конечно, придется моему сердцу тяжелее всех, какие я доселе испытал. Тогда останется мне уехать из здешних мест в дальнюю мою деревню, может быть в чужие края, пожелав Катерине Александровне всего счастья, которого она так достойна, а вам – наслаждаться зрелищем этого счастья. Об одном прошу вас только: вспомнить иногда несчастливца, которому судьба, без вины его,

*назначила испытать до последних дней его горькую чашу страданий. Мне же останется навсегда хоть утешением воспоминание о тех прекрасных днях, единственных в моей жизни, которые я провел в вашем семействе».*

Читая это послание и все приложения к нему, Горлицын несколько раз прекращал свое чтение, чтобы дать себе отдохнуть от бремени тех чувств, которые оно возбуждало в душе его; несколько раз слезы мутили его глаза и заставляли отрываться от печальных строк. Пришедши к дочери, он подал ей письма и бумаги, полученные от Волгина, кроме копий с разных определений присутственных мест, и сказал ей:

«Ты не дитя, вооружись твердостью, прочти все и скажи мне потом, что нужно написать соседу. А я покуда пройдусь немного, подышу свежим воздухом... Мочи нет, мне тяжело!»

Когда он возвратился, Катя с заплаканными глазами сидела у стола и писала что-то на почтовом листочке. Написавши, отдала отцу и прибавила:

– Прочтите эту записку и пошлите ее к Волгину. Знаю наперед, что вы на нее согласны, потому что вам дорого счастье вашей дочери.

Александр Иваныч прочел следующее:

*«Отец мой предоставил мне отдать руку мою тому, кого выберет мое сердце. Полюбила я вас сначала, может быть, и романтически: мудрено ль? Тогда я*

*только что сошла с институтской скамьи. Потом, с опытом жизни, рассудок и сердце уверили меня, что я ни с кем не могу быть счастлива, как с вами. Теперь ни в чем вас не обвиняю. Уважаю вас еще более, прочтя ваши бумаги. Видно, Господь назначил мне утешить вас, сколько могу, за все ваше прошедшее – я исполню свято этот долг. Приходите к нам сейчас.*

*Ваша на веки Катерина Горлицына».*

Ничего не сказал отец, прочтя записку, поцеловал дочь, благословил ее и, запечатав послание, отослал с Филемоном к соседу. Верный Ричард дожидался ответа. Радостный, как безумный, выбежал к нему Волгин, поцеловал его в лоб, всунул ему в руку пучок ассигнаций, сказал: «Иду!» Но, видя, что тот, ошеломленный от таких невиданных щедрот, стоял все на том же месте, почти вытолкнул его из двери. Через несколько минут Иван Сергеевич был у ног Кати... Детская улыбка мелькала на губах Александра Ивановича и радостные слезы катились из его глаз.

Прошло несколько дней нетерпеливого и тревожного ожидания известий из Петербурга. Оно пришло. Вот что писал Ивану Сергеевичу дядя его:

«Твое дело окончательно решено. Но Бог решил его за несколько дней до того по-своему. Пятого ноября отошла твоя жена в вечную жизнь. Перед смертью пришла в рассудок, узнала, где находится, потребовала к себе священника, исполнила все христианские обязанности, со слезами просила прощения, особенно у тебя, у всех, кого когда-либо оби-

дела, пожелала тебе счастья (это были ее последние слова) и скончалась тихо на руках людей, совершенно ей чужих. Пусть будет ее жизнь примером для многих! Подай ей, Господи, в селениях небесных мир, которым она здесь не наслаждалась!.. Посылаю тебе законное свидетельство о ее смерти».

Когда Волгин передал Катерине Александровне и отцу ее это известие и намерение свое отслужить панихиду по усопшей, невеста его вызвалась участвовать в исполнении этого священного и трогательного обряда.

Впоследствии времени она этой обязанности не пропускала ни одного года до конца своих дней.

Помолвка и обручение были через несколько дней и изумили весь город. Семейство предводителя, Пшеницыны и многие другие от души радовались этому событию. Сыскались, однако же люди, которые заметили, что дочери бедного соляного пристава выпало такое высокое счастье не по рангу. Селезнев с отчаяния спешил уехать в отпуск.

В это время Катерина Александровна получила при своем женихе письмо – от кого бы вы думали? – от майорской дочери Чечеткиной.

– Что бы она могла мне написать? – сказала Горлицына, взглянув на подпись, – уж не из-за вас ли хочет начать со мной процесс?

Майорская дочка, расточив сначала изъяснения своего уважения и сожаления к Катерине Александровне, приня-

лась потом честить Волгина самыми лестными для него эпитетами. И злодей-то он, и безнравственный человек, и свет-то с ума жену, образец всех женщин, которую держит в своей деревне, едва ли не на цепи. Вместе с этим Чечеткина предлагала начать с ним процесс, для такой okazji рекомендовала отличного ходока-поверенного, который заставит вероломного обманщика, посягающего на честь и благополучие такой прекрасной девицы, какова Катерина Александровна, заплатить ей важную сумму.

Как узнала о семейных делах Волгиной охотница до процессов, – никто из читавших ее письмо не старался исследовать. Довольно, что посмеялись над этим посланием, которое, однако ж, если бы получено было несколько прежде, могло бы встревожить Горлицына и его дочь.

Когда невеста собиралась к венцу, Ване поручили надеть на ее ножку башмачок. Говорят, что плутишка при этом не преминул поцеловать ее ножку и заставил Катю очень покраснеть. После свадьбы Горлицын вышел в отставку, предоставив лишние кули соли в распоряжение своего преемника, и переехал к дочери в новую деревню ее мужа, где был и прекрасный дом, и прекрасный сад, и протекала та же М-река, омывавшая берег, на котором стоял домик соляного пристава в Холодне. До глубокой старости наслаждался он счастьем видеть согласие и любовь обоих супругов. И мне раз, в юности моей, удалось провести несколько дней в этой благословенной семье и видеть, как два маленьких внука и крошка

внучка барахтались с дедушкой на лугу. Та же детская, прекрасная улыбка, одушевлявшая лицо старика, не оставляла его до тех пор, пока не закрыла его последняя, брошенная на него горсть земли.

Ввиду того места, где Катя и Волгин в первый раз познакомились, близ переправы через Москву-реку, у подножия Мячковского кургана, поставили они скромный памятник. Не знаю, существует ли он теперь.